



РОССИЯ
ДЕРЖАВНАЯ

ОЛЕГ
ИГНАТЬЕВ

КЛЮЧИ
ОТ
СТАМБУЛА



Россия державная

Олег Игнатьев

Ключи от Стамбула

«ВЕЧЕ»

2018

Игнатъев О. Г.

Ключи от Стамбула / О. Г. Игнатъев — «ВЕЧЕ», 2018 — (Россия державная)

ISBN 978-5-4484-7532-0

После проигранной русским правительством Крымской кампании турецкое общество взирало на представителей России с почти нескрываемым презрением и безотчётно прорывающейся ненавистью. Интриги иностранных послов лишь подогревали неприязнь ко всему русскому, всё больше запутывая клубок противоречий. В этой атмосфере подозрительности и бесконечных заговоров осуществлял свою деятельность главный герой романа, «лев русской дипломатии», граф Николай Павлович Игнатъев, ставя своей ближайшей целью восстановление права России на военный черноморский флот и владение проливами. Роман «Ключи от Стамбула» будет интересен не только любителям отечественной истории, военной разведки и дипломатии, но и самому широкому кругу читателей.

ISBN 978-5-4484-7532-0

© Игнатъев О. Г., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

Книга I. Константинопольский крест	6
Предисловие	6
Часть первая. Жертва ревности интимной	7
Глава I	7
Глава II	10
Глава III	12
Глава IV	14
Глава V	17
Глава VI	21
Глава VII	25
Глава VIII	31
Глава IX	35
Глава X	40
Глава XI	42
Глава XII	43
Глава XIII	44
Глава XIV	49
Глава XV	52
Глава XVI	57
Глава XVII	58
Глава XVIII	59
Глава XIX	62
Глава XX	65
Глава XXI	68
Часть вторая. Кого убьют первым?	72
Глава I	72
Глава II	78
Глава III	79
Глава IV	82
Глава V	86
Глава VI	87
Глава VII	91
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Олег Игнатьев

Ключи от Стамбула

© Игнатьев О. Г., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

* * *

Книга I. Константинопольский крест

*Жатвы много, а делателей мало.
Мф. 9,34,37.*

Предисловие

Десять лет назад я познакомил русского читателя с героем исторического романа «Пекинский узел» графом Николаем Павловичем Игнатъевым, блестяще исполнившим свою секретную миссию в Китае. Собранный мною материал о жизни и деятельности этого выдающегося человека, «льва русской дипломатии», как отзывались о нём современники, потребовал написания второй книги. Она посвящена русско-турецкой войне 1877–1878 годов и всему тому, что ей предшествовало, ибо у всякой истории есть предыстория, первопричина, которая довольно часто ничуть не уступает следствию по яркости красок и силе роковых обстоятельств, запутанных, как нити дворцовых интриг, достоверных, как ковчег Завета, и мистических, словно исходная точка Вселенной.

Автор

Часть первая. Жертва ревности интимной

Глава I

Поднявшись по привычке в шесть часов утра, генерал-адъютант свиты его величества Николай Павлович Игнатъев, отметивший на днях своё тридцатидвухлетие, поцеловал жену, перекрестил полугодовалого сынишку, мирно посапывающего в своей детской кроватке, испросил у Бога милости и стал собираться на службу.

Его камердинер Дмитрий Скачков, добродушный богатырь с небесно-ясным взором, помог ему надеть мундир, поправил аксельбант, проверил, не низко ли свисает сабля, самую малость подвысил её и, сделав шаг назад, сказал довольным голосом: «Теперь хоть во дворец, хоть под венец».

– Под венцом был, а во дворец пора, – живо ответил Игнатъев, но весёлая улыбка, тронувшая его губы, быстро сошла с лица. Сказалась бессонная ночь, в течение которой он так и эдак кроил-перекраивал в уме канву вчерашнего спора с князем Горчаковым, и настроение его разом ухудшилось. Они со светлейшим серьёзно разошлись во взглядах, когда заспорили о том, о чём и спорить-то, пожалуй, было незачем. Суть их разногласий давно была ясна обоим и касалась «больного человека», как в высших сферах называли Турцию, впадавшую время от времени в голодные обмороки из-за крайней расточительности её нового правителя – султана Абдул-Азиза. Будучи главой Азиатского департамента, Игнатъев предлагал своему шефу внимательнее присмотреться к новому владыке Османской империи, с пониманием отнестись к его государственным реформам, заручиться его дружбой и, не теряя времени, укреплять позиции России на Балканском полуострове. Но «старик», как за глаза именовали князя Горчакова в министерстве иностранных дел, коим он неспешно управлял-руководил с апреля 1862 года, вместо дельного ответа пренебрежительно фыркнул; мол, что дружба с султаном ему и даром не нужна. Убелённый благородной сединой князь Александр Михайлович Горчаков, вице-канцлер российской империи, слишком хорошо знал истинное отношение государя императора Александра II к балканской проблеме. Всякий раз, как только речь заходила о Турции, тот неизменно повторял, что задача, стоящая перед министерством иностранных дел, более чем скромная: снять с России ограничения, наложенные на неё в 1856 году Парижским мирным договором. На практике эта формулировка означала разрушение Крымской коалиции западных держав и преодоление своеобразной изоляции России в общеевропейских делах. Никаких территориальных требований Русское правительство к Османской империи не предъявляло и других претензий не имело. Единственно, чего хотела Россия, это возвращения отнятой части Бессарабии. Ещё государь предупредил свое правительство, что не намерен поощрять бунты в Турции. Это бы шло вразрез с избранной им политикой мирного добрососедства. Вот и выходило, что директор Азиатского департамента генерал-майор Игнатъев «много берёт на себя», когда утверждает, что надо самым быстрым образом закладывать основы будущей государственности балканских народов.

– А кто против? – хмуро отозвался Горчаков. – Я лично «за». Но без восстаний, мятежей и революций.

Александр Михайлович снял с переносицы очки и, подышав на стёкла, стал отстранённо протирать их чистой, приготовленной заранее салфеткой, как бы давая тем самым понять, что не потерпит вольнодумцев в своём ведомстве – сотрёт их в порошок.

Игнатъев не сдавался, развивал свою идею.

– Если нам удастся зародить и воспитать в славянах чувство преданности императорской России, мы добьёмся того, что их земли на Балканах послужат отличным плацдармом для оборонительных и наступательных продвижений России на юге.

– Звонки бубны за горами, – мрачно покосился Горчаков. – Тут не знаешь, что случится завтра, а вы, словно ребёнок, увлекаетесь игрой воображения. – В словах князя послышалась усталость человека, не желающего больше толочь в ступе воду. – Без союза с Германией и Австро-Венгрией нам не выйти из международной изоляции. Ступайте.

Николай Павлович встал, учтиво поклонился и уже в дверях услышал: «Если вы хотите занять моё место, то нам не сработаться».

Крайне расстроенный словесной стычкой с шефом, Игнатъев со службы заехал к родителям.

Мать сразу заподозрила неладное: что-то у сына не так, и заступила дорогу.

– С Катенькой повздорил?

– С Катенькой? – словно лесное эхо, безотчётно повторил имя жены Игнатъев и лишь потом ответил. – С чего вы взяли, матушка? У нас всё хорошо, я просто счастлив.

– Значит, по службе неприятности, – заключила Мария Ивановна и велела мыть руки. – За ужином отцу расскажешь. Кстати, как твоё здоровье? Мне показалось, ты простужен.

– Был, – кратко ответил Николай Павлович и прошёл в столовую.

Павел Николаевич Игнатъев, собиравшийся в Висбаден для курортного лечения, выслушал сына и, недовольный резкостью, допущенной им при разговоре с Горчаковым, велел нижайше просить у того прощения.

– Я ничего такого, – начал было оправдываться Игнатъев, но встретив строгий взгляд отца, повинно склонил голову. – Я понимаю.

После ужина они уединились в кабинете.

– Это всё она, гордыня, – сокрушённо произнес Павел Николаевич и в назидательно-суровом его тоне появились нотки теплоты. – Наше самолюбие. А что касается светлейшего и ваших далеко не идеальных отношений, то я могу сказать одно: князь опасается твоей ретивости. Он усматривает в твоих действиях угрозу для себя.

– Да я ничуть не интригую, – совершенно искренне сказал Игнатъев и торопливо добавил: – Я всего лишь говорю о том, что время, историческое время, как-то странно ускорило бег, и надо это чувствовать, не отставать, идти быстрее, по возможности опережать события, а не плестись в хвосте, и это, по всей видимости, обижает «старика».

– А если это так, – отозвался Павел Николаевич, – не лучше ли тебе отправиться куда-нибудь послом, побыть в тени, дожидаться, когда хмурое твоё начальство сменит гнев на милость, а? Ведь ты же сам сейчас сказал, что надобно уметь опережать события.

– Об этом я и думаю теперь.

Попрощавшись с родителями, Игнатъев приехал домой, переоделся и, отказавшись от ужина, заглянул в детскую. Павлушка уже спал, крепко прижав к себе плюшевого медвежонка с пуговично-круглыми глазами.

– Ждал тебя, ждал и сомлел, – с лёгким укором в тоне сообщила жена и, когда они вошли в гостиную, поинтересовалась, «что нового в Европах»?

– Я думаю, что в скором времени ты это будешь знать лучше меня, – усаживая её рядом с собой на диване, грустно вздохнул Николай Павлович и вкратце рассказал о распре с Горчаковым. – Мы разошлись с ним во взглядах.

Я настаиваю на самостоятельной внешней политике России, а наш светлейший лебезит перед Европой, соглашается на роль несчастной жёлтой обезьяны.

– Обезьяны? – В глазах Екатерины Леонидовны читалось явное недоумение.

– Представь себе.

– Я что-то не улавливаю смысл. Вернее, мне понятно, что Европе хочется, чтоб мы копи-ровали её действия, мартышничали, так сказать, но почему ты говоришь о «жёлтой» обезьяне? Тем более, «несчастной».

– Сейчас объясню, – пообещал Игнатъев. – В глубокой древности самым изысканным лакомством у китайских обжор был мозг жёлтой обезьяны.

– Фу! – брезгливо сморщилась Екатерина Леонидовна и даже выставила вперёд руки, будто её пытались угостить мерзейшей гадостью. – Как это можно есть?

– Не знаю, Катенька, – потербил левый ус Игнатъев и даже закусил его, – не представляю. Вся штука в том, что мозг вычёрпывали чайной ложечкой у верещавшей живой обезьяны, спилив ей купол черепа.

– Жив-о-ой?!

Екатерина Леонидовна икнула и зажала рот руками.

В глазах читался ужас.

Игнатъев ласково привлёк её к себе.

– Забудь, забудь. Всё это, видимо, легенды и не больше. Мифы Поднебесной.

Жена легонько помотала головой, как отгоняют морок сновидения, и вскоре они вновь заговорили о программе Горчакова и о том, что волновало Николая Павловича как христианина.

– Славяне должны чувствовать плечо России.

– Ты у меня идеалист, Коленька.

– Что делать, такой уродился. Но, если трусоватость Горчакова мне во многом понятна, хотя и возмущает, то такие люди, как его приспешник барон Жомини и мой сослуживец Стремоухов, распускающие сплётни о моих мнимых интригах, направленных против светлейшего, постыдно бесят!

Наконец Игнатъев отправился к себе, спать, но ночь прошла без сна, в мучительных раздумьях, а утром Игнатъев, позавтракав и глянув на часы, стоявшие в прихожей, дал знать Дмитрию, что время одеваться. Тот живо повернулся к гардеробу.

– Один секунд, погрею шубу.

– Дмитрий, – удержал его Игнатъев. – Я не барышня.

– Так лихоманка-то вчера ещё трясла, – ворчливо произнёс Скачков и хмыкнул с явным осуждением.

– Это вчера, – сказал Николай Павлович, поймал рукав зимней шинели, оделся, надвинул фуражку на лоб, как это делал государь и, окинув взглядом своё отражение в зеркале, повернулся к жене, вышедшей проводить его.

– Шею закутай, – сказала она озабоченным тоном.

– Катенька, – натягивая перчатки, успокоил он её. – Кашель прошёл.

– Прошёл, а ночью-то я слышала, – Екатерина Леонидовна решительно поправила на его шее тёплый шарф и с напускной ворчливостью добавила: – Нет слушать жену, так всё своё.

Лакей открыл дверь – и тотчас пахнуло морозцем. Вдоль Гагаринской набережной за ночь намело сугробы. Санки, запряжённые двумя орловскими рысаками, стояли у парадного крыльца, и кучер Василий, пропахший сеном и сыромятной упряжью, нетерпеливо перебирал вожжи.

Игнатъев запахнул шинель, устроился удобней, и кони резво побежали – свернули на Невский проспект.

Глава II

Испросив аудиенции у государя императора, Николай Павлович чистосердечно поведал ему о тех «трениях», которые возникли у него с князем Горчаковым, и выразил желание оставить пост директора Азиатского департамента.

– Мне хочется живого дела, – вполне твёрдо, но с просительной ноткой в голосе обратился он к царю, прекрасно зная, что тот любит, чтобы его упрашивали. Была в нём эта, чисто женская, черта.

– И кем же ты намерен быть? – с неудовольствием спросил Александр II, уже имевший разговор со своим канцлером. – Я мыслю тебя дипломатом.

– Послом в Персии или же в Турции, – кратко ответил Игнатъев.

14 июня 1864 года генерал-адъютант свиты его величества Николай Павлович Игнатъев Высочайшим Указом был назначен посланником при Порте Оттоманской с годовым окладом содержания в сорок девять тысяч рублей серебром, не считая «подъёмных». Через два дня он дал обед своим сослуживцам Азиатского департамента, сдал дела и, выправив паспорта на всех членов семьи вместе с людьми, четвёртого августа прибыл в Вену, обрадовав родителей своим прибытием. Отец и мать лечились в Висбадене, где два года назад они благословили своего старшего сына на бракосочетание с юной княжной Екатериной Голицыной, когда он радовал их своим близким присутствием после возвращения из Поднебесной.

Венчание совершено было в местном православном храме, и с тех пор памятная дата этого счастливого события – второе июня – стала для Николая Павловича сугубо почитаемой, едва ли не священной. Жена у него прелесть! Катенька общительна, добра, умна и восхитительно красива. Особенно прекрасны у неё глаза с их одобрительной улыбкой; а лоб, а нос, а губы – настолько хороши, что передать нельзя! Да и как передать словами то, что тянет целовать? – тянет так сладостно, неодолимо, словно затягивает в сон, в сладчайший омут забытья, когда теплынь и льётся лунный свет...

Провожая сына в Стамбул, Павел Николаевич просил писать как можно чаще, а мать, всплакнув, перекрестила.

– Мои вы ненаглядные, храни вас всех Господь!

Придерживаясь старинного правила: «Что делаешь, делай скорее», Игнатъев не стал дожидаться комфортабельного парохода и на старенькой «Тамани» двадцать второго августа добрался до Константинополя. В море их жестоко потрепало: штормило-мотало два дня, но в Босфор судно вошло при тихом ветре. Небо прояснилось, воды пролива вновь приобрели глубокий изумрудный цвет. Выглянувшее солнце сразу же придало всем, кто оказался в этот миг на набережной курортного местечка Буюкдере, где находилась летняя резиденция российского посольства, и самой турецкой деревеньке радостно-праздничный вид.

Константинополь со стороны Босфора открылся во всей своей красе, увенчанный гигантским куполом св. Софии, находящейся под неусыпной стражей четырёх суровых минаретов.

Жена Евгения Петровича Новикова, временного поверенного в делах русской миссии, встречавшего со всеми членами посольства своего нового начальника на пирсе, дама пусть не юная, но очень миловидная и стройная, перестав именоваться «посольшей», не без скрытой зависти шепнула жене военного атташе госпоже Франкини, что «новому посланнику счастье на роду написано».

– Даже природа ему благоволит.

Та лишь вздохнула и ничего не ответила. Да и что говорить, когда и так всё ясно.

Лодка «забежка» подплыла к «Тамани», моряки завели якорь в нужное место и в тот миг, когда загрохотала цепь и пароход окончательно встал напротив двухэтажной летней резиден-

ции российского посла, со стороны портовой крепости – один за другим – раздались пушечные выстрелы числом семнадцать, согласно принятому этикету.

Когда ступили на берег, как-то так вышло, что Екатерина Леонидовна, которой Николай Павлович помог выбраться из лодки, следя, чтобы она, чего доброго, не кувырнулась в воду, увидев замечательный дворец с российским флагом на фронтоне, многие окна которого были отворены на прекрасную набережную, тотчас направилась к нему, нарушив этим протокол.

Вряд ли кто из присутствовавших на пирсе догадывался, что, измученная штормом и частыми рвотами, Екатерина Леонидовна уже не чаяла добраться до постели с одним единственным желанием уснуть, и позабыть кошмар морской болтанки. Она была беременна вторым ребёнком.

Сам же Николай Павлович, твёрдо усвоивший, что Восток любит пышность, заранее предупредил Новикова, чтобы торжество по случаю его прибытия в качестве посланника проходило величественно, неповторимо внушительным образом, оставляя впечатление прекрасного сна – турок мёдом не корми, дай поглазеть на сказочное действо.

Ступив на берег, на деревянную пристань напротив ворот посольской дачи и поочерёдно пожимая руки своим константинопольским сотрудникам, Игнатъев хорошо осознавал, что все они сейчас гадали об одном: уживутся они с ним, осwoятся ли под его началом, или начнут разбегаться по более уютным, комфортабельным углам?

Каждый из них помнил, что новая метла по-новому метёт и что перемена начальства уже перемена судьбы.

Высокий, статный, крепкого телосложения, с оживлённым выражением лица и тёмно-кариыми глазами, в которых всякий мог увидеть добрый нрав и редкий ум, Николай Павлович чувствовал себя просто переполненным любовью; будь обстановка менее официальной, не столь торжественно-помпезной, он каждого бы заключил в объятия и дружески расцеловал. Во-первых, многих он когда-то лично принимал на службу, приводил к дипломатической присяге, воспринимал как близких, по-семейному родных людей, а во-вторых, он привык поступать так, как диктовало ему сердце, сокровенные уголки которого были до краёв заполнены сейчас весёлостью и благодушием. Поэтому, охотно пожимая руки своим дипломатам и вежливо раскланиваясь с их милovidными жёнами, он надеялся, что его привязанность ко всему русскому, тем паче, на чужой, никак не дружественной им земле, вдали от России, которую он никогда ещё так не боготворил, как именно теперь, когда вступил на европейский берег Порты, и его надежда на сердечное взаимопонимание всех членов миссии, которых он всемерно уважал за их нелёгкий «закордонный» труд, читались на его лице даже при самом беглом взгляде.

Николай Павлович уже бывал в Константинополе, поэтому не стал тратить время на разглядывание окрестностей, а сразу же попросил Николая Дмитриевича Макеева, первого драгомана посольства, набросать психологический портрет Абдул-Азиза.

– Хотя бы в основных чертах.

Макеев прожил на берегах Босфора двадцать пять лет, знал всех, и его все любили.

– Хорошо, – ответил он, – сейчас я расскажу вам про Азиса.

– Азиса или все-таки Азиза? – сразу же спросил Николай Павлович. – Мне это важно знать, чтоб не обидеть падишаха.

– По-арабски Азиз, по-турецки Азис. Особого значенья не имеет.

– А как ему самому больше нравится?

– Мне показалось, – переводчик слегка призадумался, – султану нравится не резкое, а мягкое произношение: Азис.

– И каков он? По воспитанию, по склонностям, по своим взглядам?

– Главным в его воспитании были джигитовка и гимнастика, – заговорил драгоман. –

Насколько мне известно, его по сей день окружают горские джигиты и пехлеваны – силачи. В отрочестве он любил возиться с дикими зверями в дворцовом зверинце, обожал птиц, кото-

рых у него было великое множество, со всех концов света. Предметом его забот являлся бой петухов, гусей и других птиц. Часто для потехи он отсекал дамасской саблей ноги у дерущихся кочетов и хохотал до колик в животе, глядя на их кувыркание.

– Задатки настоящего тирана, – Игнатъев повёл головой. – Свирепый тип.

– Он любой фортель может выкинуть, – предупредил Макеев и сказал, что будучи принцем Абдул-Азис всегда любил ставить всё с ног на голову и в роли падишаха остаётся таким же, своевольным до безумия. – Это у него наследственное, от отца. Тот в ярости был просто страшен. Ударом кулака сбивал с ног виноватого, вспрыгивал на него, топтал до посинения. Ещё и шпорами терзал, пытаясь ослепить. Абдул-Азис в него, он деспот по натуре.

К концу беседы Игнатъев уяснил для себя основной принцип правления османов: «Я так хочу и так должно быть».

Глава III

Военный атташе посольства полковник Генерального штаба Виктор Антонович Франкини на правах старого товарища обратился к Николаю Павловичу с сочувственным вопросом: как же так вышло, что он покинул Петербург и согласился стать послом в Стамбуле?

– С Горчаковым поцапался, – усмешливо сказал Игнатъев как человек, честно выполнивший долг перед самим собой и не собирающийся бросать однажды избранного дела. – Нет сил смотреть, как светлейший тщеславится и держит себя так, точно нашёл скрытый рычаг, с помощью которого перевернёт Землю, в то время как сам в азиатских делах ни бум-бум. А помимо того, прямо скажу, непрестанные столичные интриги и личные осложнения, так или иначе связанные с ними, мне опротивели вот как! – Он провёл пальцем по горлу, как проводят лезвием ножа, и сказал, что они ещё вернутся к этой теме.

– А пока прошу ко мне.

Игнатъев и Франкини прошли в небольшую гостиную, в которой за общим, великолепно сервированным столом, уже сидели многие чины посольства. Николай Павлович всегда был радушным хозяином и щедрым хлебосолом, искренно считая, что нельзя всё время быть в мундире, застёгнутом на все пуговицы. Человек лишь тогда и хорош, когда умеет радоваться людям и в меру сил творить добро.

Во время обеда Евгений Петрович Новиков предупредил его о том, что английский посол сэр Генри Бульвер-Литтон на днях должен прибыть в Стамбул, возвращаясь из отпуска, а вот французский посланник маркиз де Мустье, умный, способный, но и склочный донельзя, уже прервал свой отдых и вернулся к служебным делам.

– Человек он лживый, страстный, с непомерным воображением и самолюбием, – перечисляя свойства характера французского коллеги, Евгений Петрович для большей убедительности загибал пальцы на левой руке. – Общаться с ним невероятно трудно.

– Спасибо за подсказку, – поблагодарил его Игнатъев. – Теперь я буду знать, что он человек жёлчный и недоброжелательный.

– Сплётник и завистник, каких мало. Прирождённый интриган, – добавил Новиков.

– Насколько мне известно, – сказал Николай Павлович, переходя от личностных оценок маркиза де Мустье к дипломатическим проблемам, – Франция заигрывает с нами, но вовсе не для того, чтобы быть в союзе с нами. Ей крайне важно возбудить ревность Англии и Австрии и понудить их, в особенности первую, был податливее на свои предложения. Заручившись поддержкой Британии и пощипав, может быть, Австрию, Франция, конечно же, поднимет польский вопрос и затеет с нами драку.

– Упаси Бог! – воскликнул второй драгоман Михаил Константинович Ону, женившийся недавно на племяннице старшего советника МИДа барона Жомини и сблизившийся таким образом с теснейшим горчаковским окружением. – Этого нам только не хватало!

– В самом деле! – переводя его реплику в шутку, рассмеялся Игнатъев. – Мало того, что нам предстоит реконструкция летней резиденции, так мы ещё должны вести ремонт основного здания. – Он покачал головой и с явным огорчением заметил: – Крыша течёт, чердак вот-вот обрушится, своды треснули. Когда идёшь по коридору, пол ходуном ходит.

– Это только наверху, на третьем этаже, – поспешил оправдаться Евгений Петрович. – А трещины в стене легко замазать.

– Вот именно, замазать, – с неудовольствием откликнулся Николай Павлович. – Большая зала остаётся неотделанной, куда ни глянешь – горы мусора. А мы намерены в день Тезоименитства Государя Императора дать первый русский бал!

Новиков пристыженно молчал. Лицо его мгновенно изменилось, налилось краской, словно его охватило чувство крайней досады за то, что он ждал похвалы, а дождался нагоняя. Глядя на него и вспоминая присланные им отчёты о проводимом во дворце ремонте, Игнатъев неодобрительно хмыкнул. – А сколько толков в Петербурге о чудесном помещении Посольства! Сколько «ахов»! – Он помолчал и, не желая уязвлять более самолюбие своего нерасторопного предшественника, обратился к Эммануилу Яковлевичу Аргиропуло, первому драгоману посольства. – Вы что-то хотели спросить?

– Да, ваше высокопревосходительство, – подтвердил тот. – Здесь поговаривают, что кавказский наместник хочет выселить в Турцию черкесов, убыхов, абадзехов, гоев, и всех незамирившихся горцев. Вам об этом что-нибудь известно?

Николай Павлович взял со стола салфетку и, промокнув усы, отложил её в сторону.

– Впервые слышу. Но, если это так, – произнёс он, глубоко задумавшись, – в этом кроется какая-то загадка. Разве для того этого делается, чтобы доказать, что мы не способны к управлению, к владычеству над азиатскими народами, что у нас один кулак справляется с горцами? – Он слегка наклонил голову, всем своим видом показывая, что, будь его воля, он сделал бы всё необходимое, дабы охладить административный пыл великого князя Михаила Николаевича, нимало не сомневаясь в действенности своих доводов и его благоразумии. – Переселение горцев с черноморского берега было обоснованно в течение вооружённых с ними столкновений, ради скорейшего прекращения борьбы, но продолжение этого выселения – позор для русского правительства.

– Вот, вот! – воскликнул Эммануил Яковлевич, которому ответ Игнатъева показался изумительным по смелости и, честно говоря, обворожительным. – Именно так и можно понимать сию угрожающую акцию. Зачем отдавать туркам сотни тысяч живого, крепкого народонаселения?

– Мы и так уже отдали им целую армию в течение последних четырёх лет! – возмущённо заметил полковник Франкини и, не ведая, как лучше справиться со своим гневом, резко воткнул вилку в кусок мяса, лежащий на его тарелке. – Почти шестьсот тысяч горцев! Неужели у нас такой переизбыток населения?

– Я полностью с вами согласен, – откликнулся Николай Павлович, обращаясь к своему атташе и переводчику. – Подобное переселение – явление ненормальное в жизни народов. Его нельзя сравнить с ирландским. В случае войны с Англией в Средней Азии, даже с Турцией и Персией, стоило двинуть нам множественные толпы кавказцев, и вся Азия была бы наша.

– Несомненно! – встал на его сторону Франкини, и глаза полковника воинственно сверкнули. – А наш иерусалимский консул пламенно стоит за выселение.

– Надо будет с ним поговорить, – сказал Игнатъев, понимая, что речь идёт об Андрее Николаевиче Карцове, человеке нервном и своеобразном. – Возможно, мне удастся переубедить его.

После обеда он разговорился с настоятелем посольской церкви о. Антонином (Капустиным), расспросил его о насущных заботах, обещал всячески помогать в благих делах и с осо-

бым приподнятым чувством отстоял с женой на всенощной, на указанном ему «посольском месте».

В субботу Николай Павлович и Екатерина Леонидовна исповедались, миропомазались, а в воскресенье причастились Святых Христовых Тайн вместе с Павлушкой, которого всю службу держал на руках Дмитрий Скачков.

Глава IV

Прошло совсем немного времени и Абдул-Азис, приняв верительные грамоты у иностранных дипломатов, почтительно склонявших голову перед его величеством владыкой Порты, устроил в их честь торжество, на котором жена русского посла Екатерина Леонидовна Игнатъева была единодушно признана королевой бала!

Абдул-Азис галантно вручил ей презент: изумительную диадему и колье.

Это был поистине царский подарок: в колье сверкало девять бриллиантов, а в диадеме – девяносто!

Ослепительное украшение.

– Я не знаю, как выглядела Афродита, но смею думать, что она бы не решилась примерить эту диадему, стоя рядом с вами перед зеркалом, – сказал он с изысканной дерзостью. Сказал чуть слышно. По-французски.

– Я очень тронута, ваше величество, – почувствовав, как слёзы счастья застилают ей глаза, промолвила Екатерина Леонидовна, впрочем, с приятным достоинством. – Вы так благосклонны ко мне, так щедры, что я невольно умолкаю, дабы не наскучить вам своей излишне пылкой болтовнёй.

– А? Каково? – наклонился посланник Пруссии граф Брасье де Сен-Симон к уху своего секретаря, услышав её блистательный ответ. – Да она больше дипломат, нежели сам Игнатъев. Не зря австрияки боятся, что новый посланник России со своей супругой вскоре будут чувствовать себя в Константинополе, как на посольской даче. – Заметив взгляд австрийского посланника, не очень дружелюбного при встречах, он горделиво вздёрнул подбородок, рисуясь, подкрутил усы и нарочито приосанился. – Я вдруг поймал себя на мысли, что сядь она на российский престол, многие бы вскоре поняли, что такую штучку голыми руками не возьмёшь!

– Она и держится как настоящая царица, – внезапно севшим голосом ответил секретарь, не отводя восхищённого взора от супруги русского посла. – И держится она так не потому, что «королева бала», а потому что рождена быть ею.

Он был взволнован до крайности.

– Екатериной III? – спросил Брасье де Сен-Симон, и его секретарь молча кивнул, мол, да, Екатериной III.

Фурор, который произвели красота и обаяние молодой русской посольши, был поистине необычайным.

– У неё прелестная улыбка, – прикрывая дряблое лицо своё китайским веером, с восторгом прошептала баронесса Редфильд находившейся подле неё жене французского посла.

– А глаза? – спросила та, пытаясь рассмотреть в лорнет лицо мадам Игнатъевой.

– И столько сдержанности, столько благородства, – не отвечая на вопрос, но продолжая источать восторги, произнесла баронесса, провожая взглядом своего супруга, известного банкира Жана-Доминика Аарона Редфильда, степенно направлявшегося в сторону буфета.

– Да, падишах не сводит с неё глаз, – со вздохом зависти произнесла супруга итальянского посланника своему мужу, который хмуро отозвался:

– В то время, как она их опускает.

– Это чудо! – продолжала восхищаться итальянка, не сводя глаз со столь красивой «королевы бала». – Вот оно искусство покорять сердца мужчин.

- Сердца монархов. Так будет точнее.
- Она божественна! На вид ей лет семнадцать.
- На самом деле она старше.
- И на много?
- На пять лет.
- Выходит, ей уже за двадцать... двадцать два?
- Считай сама.

Судя по репликам и пересудам, женским и мужским оценкам, новоявленная «королева» не прилагала никаких усилий, чтобы понравиться султану. Напротив, складывалось впечатление, что она страшится влюбить его в себя.

Старший советник прусского посольства, высокий, синеглазый, обаятельный блондин в отлично сшитом фраке, сойдясь возле буфета со своим коллегой из британской миссии и явно поджидая направлявшегося к ним барона Редфильда, любителя шампанских вин, смешливо скривил губы.

– Наши посольские куклы сразу попритихли.

Лакей поднёс ему фужер с «Veuve Clicquot»¹ и он привычно снял его с подноса.

– Вы только посмотрите на жену австрийского посла: самолюбие её потрясено, это уж точно.

Англичанин усмехнулся и, пригубив свой бокал с вином, пустился в небольшое рассуждение.

– Иначе и быть не могло. Стоит женщине увериться в своём очаровании, в той красоте, которой обладает её тело, магически влекущее к себе сердца и взгляды, с ней происходит резкая метаморфоза, и там, где она раньше уступила бы разумной мужской логике, нисколько не смущаясь этим фактом, её собственная начинает бунтовать и требовать – нет, не поблажек и уступок! – это бы ещё куда ни шло, а полной, так сказать, капитуляции чужого, не удобного ей, мнения.

– И с этим ничего нельзя поделать? – спросил советник прусского посольства с тем выражением весёлого лица, когда любой вопрос, пусть даже философский, кажется уже не столь и важным.

– Ничего. – Англичанин встряхнул головой и поправил свои волосы, не столько золотисто-светлые (при ярком свете люстры), сколько жёлто-рыжие с густым тёмным отливом. – Любой диктат, будь это диктат власти или диктат красоты, всегда больно гнетёт и мягким не бывает. Он может таким лишь казаться, причём, казаться людям посторонним, обособленным от непосредственной его «давильни».

Синеглазый блондин вскинул бровь, изумлённо воскликнул: – Ну, надо же! – и вновь обратил свой взор на миловидную жену австрийского посла, которая стояла, чуть не плача, обиженно покусывая губы.

– Вы только посмотрите на неё! Она едва скрывает свою ярость.

– Вас это удивляет? – спросил рыжеволосый дипломат, пряча улыбку превосходства.

– Я ей сочувствую, – ответил обаятельный блондин, невольно потирая подбородок. – Мы все привыкли избирать её царицей бала, а теперь, мне кажется, она готова разрыдаться.

– Это вы о ком? – спросил с лёгкой одышкой барон Редфильд, неспешно подавая ему руку для пожатия.

– Да так, – пробормотал советник прусского посольства, переглянувшись с англичанином. – О милых сердцу дамах.

– О мнимых и действительных кумирах, – с крайней почтительностью пояснил британский дипломат, стараясь уловить реакцию барона на свои слова.

¹ Вдова Клико.

– О мнимых говорить не стоит, – назидательно сказал в ответ банкир и почти залпом выглотал шампанское. – А бал сегодня, в самом деле, цимес!

– Чем же он вас восхитил? – добавив к почтительности толику мягкой иронии, вызванной словечком «цимес», с полупоклоном спросил англичанин.

– На нём впервые победила красота.

– А что побеждало до этого?

– Скука.

Весь вечер Екатерина Леонидовна не отходила от Игнатъева, опираясь на его правую руку, галантно согнутую в локте. Сам же Николай Павлович, ведя беседу с тем или иным интересующим его лицом, нет-нет да и поглядывал на неё восторженно-блестящими глазами.

Когда начались танцы, музыка вынесла их почти на середину залы, и всякому, кто наблюдал за ними, стало ясно: не было ещё в дипломатическом сообществе Константинополя более прекрасной супружеской пары.

В кулуарах иностранных миссий заговорили о «русской угрозе».

– Эдак всё золото Порты переключает к Игнатъевым! – возмущался австрийский посланник, верный политической традиции Габсбургов «лавливать и ловить рыбку в мутной воде».

– Да черт бы с ним, с этим золотом! – раскуривая трубку и выкашливая дым, негодовал английский посланник лорд Литтон (сэр Генри Даллинг и Бульвер), имевший обширные связи в турецком обществе и ревниво усмотревший в благосклонности султана охлаждение к той политике, которую он рьяно проводил в Константинополе. – Боюсь, что посольская чета Игнатъевых в скором времени будет не менее опасна, чем два новейших броненосца, которые мы строим для султана! А может, даже превзойдёт их по своей военной мощи.

Прусский посланник граф Брасье де Сен-Симон дальновидно избегал громких высказываний. Он молчаливо соглашался с сэром Бульвером, зато посол Франции, в глазах которого не гас огонь самодовольства, снисходительно похлопывал по плечу своих приунывших коллег и во всеуслышание провозглашал, что никому не суждено первенствовать в Константинополе, пока в нём пребывает он, маркиз де Мустье!

Его заносчивая речь, обращённая к дипломатической элите, напоминала многим пошлый диалог из дурацкой французской комедии.

– Хозяюшка! Вы предлагаете мне спать? Но я вам спать не дам, и не надейтесь.

– А я уйду от вас, запрусь в уборной!

– Вы и уйдёте от меня, да не уснёте; сами позовёте в будуар...

– А вы, однако...

– Что?

– Большой нахал!

Бахвальство маркиза де Мустье дико возмущало представителя Италии: он хмурился... и соглашался.

Франция и впрямь первенствовала в Турции. Всё решалось так, как ей хотелось. Наверно, исходя из всего этого, мужалых сыновей турецких богачей в Стамбуле не увидишь: они все в Париже. Дарят азиатские платки местным субреткам. Да и что им делать, падким на соблазны мира обалдуям, скромникам и прощелыгам, здесь, в столице Порты Оттоманской, где в любой харчевне вас могут накормить салатом из немых овощей, приготовить шашлык из дохлой собачатины и взять ещё за это деньги, приторно и мерзко улыбаясь. Ты мене уважай, я – табе. А могут и зарезать, если ты свернул не на ту улицу. Подумать страшно, что творилось и творится в самом лучшем городе земли его людьми! Да, может, это и не люди вовсе, а? Шайтаны, оборотни, духи? У них, конечно, есть понятие о чести, но... весьма своеобразное. Сперва бакшиш, потом всё остальное.

А бальная зала сияла! Оркестранты честно отрабатывали деньги: наяривали от души. Пыль столбом стояла – все плясали.

– Хороши балы у падишаха! – радовался жизни третий секретарь австрийского посольства и, глядя на него, все понимали, что не стоит увлекаться анисовой водкой, как это делают турки, которым Аллах запретил пить вино. Зато пахлава и шербет расчудесные.

– Отличный бал.

– Скандалиозный.

По мере того, как голоса мужчин становились всё громче, а смех развязней, дамы начинали усиленно шушукаться и деловито переглядываться между собой, как переглядываются охотники, сидя в засадном лабазе, сооружённом из жердей и веток, недалеко от того места, где должен появиться зверь, будь это бурый увалень медведь, хозяин леса, или же благородный олень. Многие при этом улыбались, что-то отмечая про себя. И наводили кое на кого лорнеты.

Глава V

Познакомившись ближе с представителями иностранных государств в Константинополе, Игнатъев пришёл к выводу, что преобладающее влияние на Востоке имели Англия, Франция и Австрия – три европейских державы, участницы в Крымской войне, подписавшие Парижский договор 1856 года. Все наиболее важные вопросы международной политики решались ими без участия России.

Недоверие и ненависть турецких министров к русским были очевидны. Порта избрала для себя путь постоянной конфронтации и противилась любому делу, которое начинала Россия. Имея министерство иностранных дел, Турция заключала международные трактаты, отправляла и принимала посольские миссии, а её военное ведомство формировало армию и флот, которые обеспечивали калифату прочный суверенитет. Но истинными хозяевами Турции являлись иностранные финансовые воротилы, одним из ярких представителей которых считался еврей французского происхождения барон Жан-Доминик Аарон Редфильд, глава собственного банковского дома, построивший в Пере фешенебельный дворец с масонским клеймом на фронтоне. Игнатъеву было известно, что главными стамбульскими банкирами считались армяне, но кредитную политику Порты выстраивали вовсе не они и направляли её в нужное им русло далеко не те, чьи предки помогали ветхозаветному Ною благополучно спуститься с заснеженной вершины Арарата. Англия и Австро-Венгрия с одной стороны, Пруссия и Франция с другой, без всякого стеснения диктовали свои требования правительству Турции, присвоив себе «право» помыкать им, как стадом баранов. Без всякого стыда они заключали между собой публичные договоры и секретные соглашения, непосредственно касавшиеся судеб пока что единой Османской империи. Многие её земли, формально остававшиеся под властью султана, на самом деле давно находились под «опекой» иностранных государств. Сербию всё больше и больше подгрребала под себя Австро-Венгрия, Тунис со всех сторон окружала заботой Франция, а на Кипр и Египет нацелились штыки английских штуцеров. Иностранные инструкторы муштровали турецких солдат, руководили флотом, заседали во многих комиссиях и всевозможных учреждениях. «А мы чем хуже?» – задавался вопросом Игнатъев, изучая положение дел в оттоманской империи и приходя к убеждению, что России, много пострадавшей от столь беспокойного соседа, каким являлась и продолжает оставаться Турция, нужно держать ухо востро и держать руку на пульсе «больного человека».

Этим же вопросом, похоже, задавался и Евгений Петрович Новиков, хорошо знавший экономическое положение Турции и постаравшийся ввести в курс дела нового посла, время от времени потирая большой чистый лоб с крупными залысинами.

– Вы должны знать, – предупредил он Николая Павловича, – что внешняя торговля калифата во многом подчинена интересам чужеземных монополий. Внутренний рынок тоже третит по швам, испытывая натиск со стороны иностранных фирм и компраторской агентуры.

Судя по остроумной реплике Новикова, даже вороны, сидевшие на ветвях привокзальных деревьев, каркали с прононсом, на манер французских.

Зайдя попрощаться перед своим отъездом, Евгений Петрович слегка наморщил лоб.

– Николай Павлович, готовьтесь к тому, что к вам срочно нагрянет французский посланник маркиз де Мустье и в самой категорической форме потребует, как он изволил выразиться, сатисфакции.

– А в чём, собственно, дело?

– Дело в том, что дней за десять до вашего прибытия в Константинополь наш андриано-польский сотрудник, временно исполнявший обязанности консула, господин Леонтъев, принятый на службу год назад, когда вы, – он несколько замялся, – были в Петербурге, отходил хлыстом француза – консула Дерше.

– За что же, позволительно спросить?

– А вот за что, – немного оживившись, но всё ещё стоя в дверях, ответил Новиков. – За оскорбление, которое тот, якобы, нанёс ему как представителю России, позволив себе дурно говорить о ней.

– Вот молодец! – с жаром воскликнул Игнатъев. – Все бы так поступали! Отстаивали честь России.

На следующий день ему нанёс визит представитель Франции маркиз де Мустье, Франсуа Леонель. Торжественно решительный и злой.

– Я полон гневных слов и возмущения! – воскликнул он с порога не без пафоса. – Вы распустили своих подчинённых! Стыдно, мерзко, неколлегиально! Вы неразумно позабыли...

– Что?

– Дипломатические правила едины для всех и установлены Венским конгрессом в тысяча восемьсот пятнадцатом году, вскоре после разгрома армии Наполеона I. Надо быть дипломатом в традиции!

Маркиз важно подал руку и Николай Павлович вежливо, но ощутимо-крепко ответил на холодное пожатие, предложив располагаться запросто и побаловать себя испанским ромом.

– Презент барона Редфильда, – сказал он со значением и сам наполнил рюмки, размышляя над словами гостя и приходя к выводу, что чистых дипломатов очень мало. Их, может быть, намного меньше, чем патронов в стволе однозарядного ружья. И еще: что значит быть «дипломатом в традиции» с точки зрения политиков Европы? По всей видимости, это значит закрывать глаза на те мерзости, которые насаждают в мире их правительства, идущие на поводу у собственных амбиций или финансовых кланов.

– Того, который Зундель Соломон, а представляется как Жан да ещё и Доминик? – с лёгким и не вполне объяснимым сарказмом поинтересовался маркиз, напрочь упустив из виду, что и его полное имя выглядит в чужих глазах слишком громоздким, если не сказать, комичным: Дель Мари Рене Франсуа Леонель. Ну, да Бог с ним!

Несмотря на то, что французский посол расположился в кресле и прочно и гневно-внушительно, Игнатъеву показалось, что в душе визитёра не так уж много ругательных слов, хотя желания нагнать на него страху было много.

– Честное слово, – закусывая ром сушёной дыней, высказал свои претензии француз. – Этот ваш задира, господин Леонтъев, требует серьёзной порки. В противном случае, – он несколько повысил голос и взялся за початую бутылку, – наш дипломатический корпус объявит вам бойкот! Самый жестокий! – Маркиз наполнил свою рюмку, посмотрел её на свет и опрокинул в рот. – Я думаю, вы поняли меня?

– Конечно, понял, – ответил Николай Павлович, хорошо помня о том, что Абдул-Азис в любой конфликтной ситуации всегда займёт позицию французской стороны. Исходя из этого и чувствуя, что ему нужна большая осторожность в разговоре с французским посланником, чтобы не ухудшить и без того довольно неприятный инцидент, а также втихомолку радуясь

тому, что хрустальная посуда маркиза де Мустье опустошается без видимой запинки, он строго произнёс: – Я накажу драчуна самым примерным образом.

– Его наглая выходка это уже не дипломатия мозгов, а дипломатия рукоприкладства! Английского бокса, если хотите. – Ярость маркиза де Мустье выплёскивалась через край. – Ему не место в русском консульстве!

– Согласен, – заверил француза Игнатъев, держась с той напускной строгостью, с какой, должно быть, плотник смотрит на разохшуюся дверь, с которой надо что-то делать, а делать чертовски не хочется. – Хотя, вы знаете, он неплохой работник. Его хвалят сослуживцы.

– Чем развязней человек, тем благообразнее он хочет выглядеть! – с напыщенностью записного демагога продекламировал маркиз и непонятно для чего поведал, что он чрезвычайный и полномочный посол Франции в ранге министра. – Я не хотел бы начинать наше знакомство с международного конфликта.

Он засопел, нахмурился, как хмурится обычно жалкий скряга, внезапно обнаружив недочёт в своей скудной карманной наличности, и снова приложился к рюмке, напустив на себя вид сироты, который ото всех терпит обиду и ни от кого доброго слова не слышит.

– Я тоже не желаю этого, – как можно мягче заверил визави Николай Павлович и всё же сказал, что, будучи посланником великой державы, хотя и не в ранге министра, он признаёт, что все его сотрудники имеют особые права в отстаивании чести и достоинства России.

– Даже путём рукоприкладства? – дёрнул плечом француз.

– А почему бы и нет? – вопросом на вопрос откликнулся Игнатъев и хлебосольно предложил маркизу отобедать вместе. Тот вскинул брови, несколько подумал и сказал «с удовольствием».

Это его «с удовольствием» было сказано как нельзя кстати и явно прозвучало для обоих ничуть не глуше золотого луидора, когда его подбрасывают вверх только затем, чтоб вскоре услышать, как он звенит, упав к ногам – на мраморные плиты пола.

Николай Павлович взял со стола колокольчик и велел секретарю распорядиться, чтобы им с маркизом де Мустье сервировали стол в его рабочем кабинете. Затем продолжил начатую мысль.

– Можно оскорбить дипломата, ничего тут сверхъестественного нет, к тому же, – он радушно улыбнулся, – брань на ворота не виснет, но плевать в лицо державы, которую он представляет на авансцене международной политики, никому не позволительно. – Голос его посуловел. – За это, согласитесь, одной оплеухи мало. И ещё, – видя желание француза возразить, проговорил Игнатъев. – Насколько я знаю, мой вице-консул принял вызов вашего Дерше, обговорил условия дуэли, но тот позорно смалодушничал – не появился в нужном месте. Как ни крути, проявил трусость. Но трусость, как известно, порождает подлость, а подлость – измену. А коли так, всех малодушных нужно гнать из дипломатии взащей – прочь от себя! Не так ли?

Маркиз де Мустье не нашёлся что ответить. Его предупреждали, что новый посланник России блестящий полемист с невероятно сильной логикой, а теперь он в этом убедился сам. У русского дипломата был живой ум, добродушие уверенного в себе человека, стремительная хватка практика, умеющего видеть выгоду и пользу там, где многие не замечают ничего, кроме препон и затруднений. Сам вид Игнатъева, его неторопливая речь, плавные жесты и какая-то особая мягкость в общении словно подсказывали всякому лицу, что знание светских обычаев и должной вежливости, привитые ему с молодых ногтей, по сей день воспринимаются им как что-то новое, возвышенное и весьма полезное; чему должно следовать неукоснительно, испытывая что-то вроде счастья, даже если этого не могут оценить все те, с кем, так или иначе, но он вынужден общаться в силу сложившихся обстоятельств или же по долгу службы.

Во время обеда они коснулись многих тем, проявляя достаточно умения и такта в чисто светском разговоре. Говорили о разном. О соколиной охоте, столь любимой падишахом, об осеннем перелёте птиц и турецких курортных местах. Ещё, конечно, о погоде, власти и деньгах,

о восхитительном искусстве дипломатии и об искусствах вообще; о театральных постановках, об опере и о балете. Затронули тему славянства, восстания греков на Крите и вновь заговорили о деньгах.

После обеда, прошедшего в приятной атмосфере, Николай Павлович заверил чрезвычайного и полномочного посла великой Франции в том, что господин Леонтьев будет примерно наказан.

– Каким образом? – поинтересовался французский посол.

– Я был намерен сделать его консулом в Салониках, поскольку он влюблён в культуру Греции...

– ...а более всего в юных гречанок, – буркнул маркиз де Мустье, прервав Игнатъева без должного стеснения. – Возможно, я покажусь вам ябедой, но я должен сказать, что ваш Леонтьев мот и распутник. Мало того, что он обожает турецкую музыку и заводит любовные пашни, так он ещё совсем запутался в долгах. А это, знаете ли, дурно.

«Понятное дело», – подумал про себя Николай Павлович, лишний раз убеждаясь в том, что дипломаты знали друг о друге всё и даже больше. Привычки посланников, закидоны драгоманов, пристрастия советников, консулов и членов их семейств были тщательно отобраны, скрупулёзно обмозгованы и сорок раз процежены сквозь фильтровальную бумагу контрразведки.

– Я это знаю, – сообщил Игнатъев, спускаясь вместе с французским послом в просторный вестибюль. – Поэтому попридержу его за полу сюртука.

– В карьерном росте? – спросил де Мустье, давая возможность швейцару поухаживать за ним.

– Да, – подтвердил Николай Павлович, пристально следя за выражением лица маркиза и с удовлетворением отмечая про себя, что оно заметно подобрело. – Я полагаю, этого будет достаточно, дабы охладить горячность господина Леонтьева и сгладить остроту конфликта. Мы ведь с вами не пампушками торгуем, чтобы толкаться и лаяться, сидя в обжорном ряду. Наше дело помогать друг другу и не держать камня за пазухой, – добавил он, когда они вышли на улицу.

– Вы это очень хорошо заметили, – проговорил француз, невольно убеждаясь в том, что посланник российской империи ему всё больше начинает нравиться. – А что касается виновника раздора, давайте переменяем разговор. Обидчивость всегда выглядит глупой.

– Как и напускная грубость, – в тон ему сказал Игнатъев.

Садясь в свой экипаж с фамильным гербом на лакированной дверце, маркиз де Мустье не преминул махнуть шляпой в знак особой приязни.

Дело прошлое – чего там!

Возвращаясь к себе, Николай Павлович заглянул в канцелярию и послал студента посольства Кимона Аргиропуло, исправлявшего обязанности третьего драгомана, за вице-консулом Леонтьевым.

Тот приехал через два часа, сославшись на загруженность стамбульских улиц.

– Повозки, фургоны, арбы, – сказал он с заметной усмешкой. – И все торопятся, спешат... столпотворение!

Это был вполне приятный облик и видом человек с ровной небольшой бородкой и высоким белым лбом, благовоспитанный и умный в разговоре. Не окончив полный курс обучения на медицинском факультете университета, он в Крымскую кампанию стал полевым хирургом; один этот факт говорил о нём, как о человеке стойком, смелом и надёжном. Николай Павлович хорошо знал Леонтьева, так как сам принимал его в прошлом году на службу в Азиатский департамент. Константин Николаевич обладал врождённой грамотностью и наделён был даром беллетриста, о чём свидетельствовала его дружба со знаменитым автором «Записок охотника» Иваном Сергеевичем Тургеневым. В пятьдесят четвёртом году горячий патриот

Леонтьев, прервав своё учение и не закончив полного университетского курса, получил степень лекаря, поступил на военно-медицинскую службу и был командирован в Крым, где проходили боевые действия. Севастополь яростно оборонялся от наседавших на него союзных сил противника: французов, англичан и турок. Константин Николаевич попал в город Керчь, в полевой госпиталь, но работа военного лекаря ему вскорости прискучила. Леонтьеву хотелось героизма, настоящих схваток с неприятелем, чтоб всей душой, всем существом своим прочувствовать яркую, дикую, неудержимую русскую удаль! Его страстное желание лично участвовать в боях, дышать пороховой гарью и степным ветром, пропахшим запахом цветущих трав и вековой полыни, было удовлетворено: Леонтьева направили в 45-й Донской казачий полк. Казаки приняли его радушно: всё же «фершал», на войне он вроде ангела-хранителя. Леонтьев вместе с ними отправлялся на рекогносцировки, бывал в пикетах, спал у костра под звёздным небом и участвовал в кавалерийских атаках. «Природа и война! Степь и казацкий конь... Молодость моя! – с непередаваемым восторгом рассказывал он о себе Игнатъеву, когда пришёл устраиваться в МИД. – Молодость и чистое небо!»

Эти слова напомнили Игнатъеву о том, что и у него всё это было: и молодость, и служба в армии, и чистое звёздное небо. И волки выли по ночам, и хор цикад звенел.

Глава VI

После Парижской конференции 1856 года, на которой Игнатъеву удалось отстоять часть российской территории, он подал служебную записку Александру II, в которой вскрыл истинные намерения Англии в азиатском регионе. Заодно обосновал те подготовительные меры, которые должны были быть приняты русским правительством в Турции, Персии и Средней Азии, чтобы поднять значение России на международной арене после проигранной крымской кампании. Поделится он с Александром II и своими мыслями о необходимости отправить в Персию, Герат и Кандахар, а также на Амударью «учёную» экспедицию для изучения края.

По всей видимости, именно тогда окончательно решено было использовать военного агента Генерального штаба полковника Игнатъева в дальнейшем на дипломатической работе. Была даже высказана мысль послать его в Персию в качестве поверенного в делах, но Николай Павлович не рискнул принять на себя новую должность без достаточного опыта и подготовки. Зато в личных беседах с великим князем Константином Николаевичем, во многом определявшим внутреннюю и внешнюю политику своего царствующего брата, он высказывал мысль о необходимости усиления политического и коммерческого влияния в Средней Азии, в противовес Англии, для чего крайне желательно учредить плавание наших военных судов по Амударье.

– Это послужило бы хорошим внушением слишком экспансивной Великобритании и заставило бы её дорожить нашей дружбой, – сказал он великому князю.

– Подайте докладную записку военному министру, – посоветовал Константин Николаевич, – а лучше Горчакову.

Помня о том, что «за царём служба, как за Богом молитва, никогда не пропадёт», Николай Павлович послушался совета великого князя, и вскоре ему поручили возглавить экспедицию в Хиву и Бухару.

Другая миссия под командованием Ханькова пошла в Афганистан, с чьих горных вершин была видна заповедная Индия, где уже хозяйничали англичане.

После неудачной Крымской кампании русское влияние на юге стало резко падать. Хива, считая себя недосыгаемой, вредила в киргизской степи, сколько могла. Дипломатические переговоры ничего не разрешали. Список военных агентов рос, а дела реальные шли из рук вон плохо. На все письменные представления Хива отписывалась лживо, дерзко и нахально. Терпеть всё это Игнатъев считал унижением для своего Отечества. Хивинцы не обращали

никакого внимания и на неоднократные внушения оренбургского генерал-губернатора, считая лишь себя хозяевами в киргизской степи. Они всё чаще притесняли и обирали наших торговцев, сбивали с толку жителей степи, посылали своих сборщиков налогов на берега Сырдарьи. Хива укрывала у себя беглых преступников, держала в плену и в рабстве русских, продаваемых туркменами, разбойничавшими безнаказанно.

Бухара поступала более сдержанно, но бухарский эмир Наср-Улла мечтал о своём личном владычестве в Средней Азии и оттого позволял себе также держать русских пленных и стеснять торговцев, обирая русских приказчиков двойной пошлиной.

Хотя при последнем посольстве Данилевского в тысяча восемьсот сорок первом году и удалось заключить с Хивой договорное условие, но хивинцы никогда не исполняли его или отрицали его существование. «Моя твоя не понимай». Посольство Бутенёва в Бухару также не дало желаемого результата. Эмир отказался подписать договор, не выдал пленных, а трое из них, которых наше посольство взяло с собой, были отобраны у нашего посланника на третьем переходе и возвращены в Бухару.

Как в Хиве, так и в Бухаре продолжали взимать с наших купцов одну десятую стоимости товаров, оцениваемых на глазок, бессовестно завышая пошлину. Ко всему прочему, ханы усиленно вывозили из России золото, но в саму Россию старались ничего ценного не пропустить. Русских караванов становилось всё меньше и меньше. Плачевное состояние не могло измениться при бесправном положении русского купца и отсутствии безопасности для его жизни, не говоря уже о произволе ханских властей.

Перед своим отъездом в Оренбург, когда на последние сборы экспедиции оставалось всего двадцать дней, Игнатъев упросил начальство отправить с ним хотя бы один боевой ракетный станок, поскольку посольство было обременено богатыми подарками для ханов, а туркмены грабили практически все караваны. Ещё раздобыл двадцать револьверов, придав по сто патронов на каждый, да заменил врача на более опытного.

19 апреля 1858 года он получил верительные грамоты, инструкции министерства иностранных дел, предписания военного министра, и на следующий день выехал в Оренбург. Многие приятели высказывали ему свои догадки, что его просто-напросто спешат удалить из столицы с «шееломным поручением» в надежде, что он где-нибудь погибнет, как Грибоедов в Тегеране, или осрамится; и что петербургские дельцы избавятся от него раз и навсегда. Но искренняя вера в промысел Божий и безотчётное желание послужить России поддерживали его дух. Николай Павлович считал интриги и сплетни завистников такими мелочами, на которые человеку, посвящающему себя бескорыстному служению Отечеству, обращать внимание не след, просто недостойно.

Спасибо, ободряли Александр II и великий князь Константин Николаевич, принимавший горячее участие в Игнатъевской миссии.

Прощание с ними было трогательным.

Военный министр Николай Онуфриевич Сухозанет прямо заявил:

– Я искренно сожалею, что Игнатъева берут у меня на такое рискованное дело! Но я же и верю, что он отлично с ним справится!

Надо ли говорить, как боялась за него и переживала мать! Отец просил писать с дороги.

– Как только выпадет минутка.

Вообще многие из близких и знакомых прощались с Николаем Павловичем как бы в последний раз перед его гибелью.

Родителей осаждали самыми зловещими предсказаниями.

Игнатъева поразила вдовствующая императрица Александра Фёдоровна.

Она осенила его образом Божией матери и, поставив перед собой на колени, взяла его голову в свои руки, благословила и поцеловала.

Растроганный, он почувствовал, как слёзы переполнили его глаза и потекли по щекам.

Впереди была неизвестность, и он вручал себя Всевышнему.

А в степи уже началась жара.

Николай Павлович досадовал, что из-за обидных проволочек оренбургского генерал-губернатора Катенина и командующего Аральской флотилией адмирала Бутакова его экспедиционный отряд выступил позже, чем хотелось.

– Вся беда в том, – говорил Игнатъеву его посыльный офицер лейтенант Александр Фёдорович Можайский, потомственный моряк, успевший побывать в Японии, а ныне занятый передвижением посольского отряда по реке, – что уровень воды в Амударье, до которой нам с вами ещё идти и идти, скоро начнёт падать. Когда он дойдёт до критической отметки, войти в верховье реки на судах, пускай и плоскодонных, вряд ли получится: осадка велика.

Угнетало и отсутствие толкового проводника, не говоря уже о переводчике. Но хуже всего было то, что между хивинцами и туркменами-йомудами вспыхнула междоусобица. Уже были кровавые стычки. Ко всему прочему взбунтовался Исет Кутебаров, обещавший сопровождать миссию в Хиву. И от Бутакова не было никаких известий. Даже Катенин, двигавшийся со своим огромнейшим отрядом и пугавший его численностью мирных киргизов, ничего не знал об Аральской флотилии.

Страшась за судьбу вверенных ему людей и боясь разграбления каравана, везшего подарки ханам, Игнатъев ввёл строгий боевой порядок, как при следовании, так и на ночлегах в особенности. Повозки и кибитки расставлялись кругом, лошади и верблюды заводились в круг, и постоянно выставлялись часовые совместно с дозорными. Сам Николай Павлович засыпал последним, предварительно проверив посты и сунув под подушку револьвер.

А степь, растревоженная внутренней кровавой распрей и появлением двух отрядов русских, движущихся по разным направлениям в сторону Хивы, рассылала во все стороны своих гонцов. Нигде так быстро не разносятся вести, как в степи. Однообразие жизни любое событие делает великим и значительным.

Узнав о том, что идёт воинский отряд Белого Царя, мятежник Исет Кутебаров вышел навстречу со своей разбойной шайкой, решив, должно быть, что миссия свернёт с пути, но Игнатъев смело двинулся вперёд.

Это настолько поразило предводителя мятежников, что он уступил дорогу слитно двигавшемуся посольству, а спустя несколько дней явился к Игнатъеву с повинной. Николай Павлович принял его как раскаявшегося смутьяна, которому уже заранее обещано помилование от имени русского царя и даже дал распоряжение сфотографировать Исета.

Польщённый и раскаявшийся, не выпускавший из рук дагерротип со своим изображением, что было для него реальным чудом, тот сложил оружие и поручил своим братьям сопроводить миссию до границ Хивы.

Об Аральской флотилии всё ещё не было никаких известий.

Игнатъев начал сожалеть, что миссия первоначально не пошла в Бухару, откуда она могла спуститься в Хиву по Амударье. Для посольства было бы гораздо легче, менее рискованно и менее утомительно отправиться сперва к самому главному среднеазиатскому владетелю, эмиру бухарскому, и у него получить пропуск на возвращение по Амударье на судах русской флотилии, которые к тому времени успели бы снарядить.

– Может быть, нам так и сделать? – видя обеспокоенность Николая Павловича за успех задуманной им экспедиции, предложил Можайский.

– Да нет, – ломая себе голову над правильным решением, после глубокого раздумья ответил Игнатъев. – Теперь поздно что-либо менять.

– Почему? – не понял Александр Фёдорович, отрываясь от походного журнала, в который заносил манёвры их посольства. – Вы полагаете, время упущено?

– Самым глупым образом, – чувствуя себя донельзя униженным грубой противоречивостью и своеволием Катенина, которые казались Игнатъеву совершенно нелепыми и оттого

крайне обидными, ибо ставили его почти в безвыходное положение, сказал Николай Павлович. – Но поздно что-либо менять не поэтому. Я боюсь, что и Хива и Бухара заподозрят в нашей миссии недоброе, так как последовательность её движения им уже известна. Об этом позаботился и Азиатский департамент, и столь любезный здешний губернатор. – Игнатъев пребывал в отвратительном расположении духа и намеренно опустил слово «генерал», хотя оно просилось на язык, как и фамилия Катенин. – Но основная беда в том, что распря между хивинцами и туркменами уже переросла в войну.

– Всё так серьёзно? – в замешательстве спросил Можайский.

– Более чем, – с мрачной уверенностью подтвердил Николай Павлович, получивший весточку от своего агента. – Города Куня-Ургенч и Ходжейли подверглись тесной блокаде туркменов.

– А что им надо, этим йомудам?

Игнатъев усмехнулся; причём, с глубочайшим презрением.

– Они, видите ли, желают, – произнёс он с ехидной растяжкой, – дать по шапке хивинскому хану Сеид-Мохаммеду и, завладев его ханством, посадить правителем своего вождя, Ата-Мурада.

– Это действительно худо, – качнул головой адъютант, как бы улавливая мысль, заботившую Николая Павловича: движение посольства по выработанному в Петербурге маршруту становилось невозможным. – Караван могут разграбить.

– А конвой втянуть в сражение, – продолжил за него Игнатъев, всерьёз озабоченный тем, что экспедиция может оказаться в центре кровавой схватки между двумя враждующими племенами.

Ночью он едва уснул, а пробудившись, твёрдо решил – на свой страх и риск! – изменить путь посольства, предупредив хитрым манёвром неминуемый отказ хивинского хана в пропуске наших судов в Амударью.

Учитывая стеснённое положение Сеид-Мохаммеда, Николай Павлович решил идти не на Куня-Ургенч, как было намечено раньше, а, переправившись через Айбугирский залив, двинуться на Кунград. А часть подарков перегрузить на пароход и отправить с двумя членами посольства вверх по Амударье, известив об этом хана письменно, но так, чтобы пароход успел войти в хивинские воды беспрепятственно.

18 июня подошёл пароход «Перовский» под командованием адмирала Бутакова, и началась погрузка.

По обычному этикету в ханствах, посольство должно быть встречено почётным конвоем в первом пограничном городке, но высылка хивинского эскорта из осаждённого туркменами Куня-Ургенча или даже Ходжейли была немыслима и могла лишь дать повод к весьма неприятным для миссии последствиям схватки хивинцев с туркменами. Входить же в ханство без почётной встречи было бы унижительно. Таким образом, путь на Кунград более соответствовал достоинству русского посольства, ибо, идя на Куня-Ургенч, оно попадало между двух огней и могло возбудить против себя обе враждующие стороны. А раз эти действия напрямую были связаны с вступлением наших судов в Амударью, то, направляясь в Кунград, Игнатъев мог успеть ввести пароход в реку до окончания спада воды. К тому же он имел тем самым возможность находиться поблизости от флотилии с подарками и держать свои средства более сосредоточенно. Так или иначе, но оренбургский маршрут заводил его в тупик; надо было срочно менять план действий.

– Следуя по новому пути, экспедиция получит возможность изучить Айбугирский залив, сделать топографическую съёмку местности, дотоле неизвестной или малоизученной, и просто описать низовую часть Хивинского ханства, – сказал он адмиралу Бутакову, объясняя цель изменения маршрута экспедиции и угощаясь чаем с татарским печеньем в большой кают-компании, отделанной морёным дубом.

– С пользой для науки, – иронично осклабился Бутаков, догадываясь о разведывательных целях миссии.

Через два месяца после выезда из Петербурга подошли к Айбугирскому заливу, а через девять дней, уже вступив на хивинский берег и отметив день ангела своего отца, Николай Павлович узнал невесёлую новость: хивинцы перехватили дружественное письмо Катенина к туркменам.

– Вот уж не вовремя, так не вовремя! – в порыве искреннего огорчения схватился он за голову, ругая про себя генерал-губернатора, чья душа в значительной мере всё ещё питалась неутолимым тщеславием. – Дёрнуло Александра Андреевича напомнить о своём существовании!

Сеид-Мохаммед расвирепел. Он счёл письмо уликой двойственности русских. Будущие переговоры с ним заранее обрекались на провал.

Необычное многолюдство посольского каравана, которое, по степным понятиям, было угрожающим, одновременное движение по степи генерал-губернатора со своей громоздкой свитой и военно-топографического отряда, встретившегося Игнатъеву на Уст-Урте, преувеличенные рассказы киргизов и кочевников до того встревожили хивинского хана, что он спешно начал собирать войска. Вступление русских судов в реку усилило опасения хивинцев.

При таком стечении обстоятельств скорейшая встреча и объяснение с Сеид-Мохаммедом становились крайне важными и жизненно необходимыми. Следовало торопиться в Хиву. А обстановка продолжала накаляться: хивинские власти сообщали, что эмир бухарский объявил войну России. Перепроверить эти слухи было невозможно, так как все письма теперь перехватывались людьми хана. Поговаривали и о том, что жестокий эмир отрезал уши русскому гонцу и вознамерился истребить русское посольство. Возникал вопрос: как быть? А тут ещё кунградскому начальнику строго-настроено запретили впускать посольский пароход в Амударью. Хорошо, что он давно уже был в ней.

Связь с Бутаковым, который приступил к выполнению задач, стоявших перед морской экспедицией, осуществлялась Игнатъевым через своего ординарца Можайского.

Несмотря на бесчисленные козни со стороны хивинцев, после восемнадцатидневного утомительного, унижительного и несносного плавания на барках Николай Павлович привёл своё посольство в Хиву, где в распоряжение его спутников местные власти выделили глиняный сарай на окраине, торжественно именуемый загородным дворцом – гюмгюмданом.

В этом сарае, без права выхода наружу, посольство продержали восемь дней.

– Шуткують басурмане, – страдая от клопов и скудной пищи, покуривали трубки казаки. – Такая у них заведения.

Бутаков, боясь вморозить пароход в осенние льды, заторопился домой.

За тысячу вёрст от родной земли русская миссия ожидала своей участи. Лишь двадцать девятого июля Игнатъеву дали возможность представиться хану и вручить ему Высочайшую грамоту.

Глава VII

На другой день он сделал визиты министрам Мехтеру и Куш-беги, передав первому письмо князя Горчакова. Как только прибыли подарочные вещи из Кунграда, Николай Павлович преподнёс их хану и министрам.

На другой день приступили к переговорам.

Наши требования заключались в том, чтобы Хива не предпринимала никаких явных или тайных враждебных действий к России и не разжигала неприязнь в соседях; чтобы она отвечала за личную безопасность и за сохранение имущества всякого российского подданного, находящегося в хивинских владениях; чтобы русским судам было дозволено свободное пла-

вание по реке Амударье и, помимо прочего, чтобы с товаров русских купцов брали постоянную пошлину не свыше двух с половиной процентов с действительной их ценности и взимали её единожды. А то дело доходило до того, что с православных купцов и приказчиков взыскивали вдвое больше против мусульман, а потому торговцы наши вынуждены были поручать свой товар казанским татарам или киргизам и даже продавать товар под чужим именем. Что порождало массу затруднений и убытков, делая дальнейшее развитие торговых отношений с Хивой невозможным. Также Сеид-Мохаммеда просили узаконить постоянное пребывание в Хиве русского торгового агента, караван-баши.

Хан обещал подумать.

Вернувшись в глинобитный «дворец», Игнатьев с горечью подумал, что миссия стала жертвой катенинского легкомыслия, бутаконской непредусмотрительности и административных препирательств. А тут ещё, как назло, не было никакой связи с Оренбургом, не говоря уже о министерстве иностранных дел.

Положение посольства с каждым днём становилось тягостнее и опаснее. Дурное расположение Сеид-Мохаммеда дошло до того, что жителям Хивы под страхом смертной казни было запрещено заговаривать с русскими и – не приведи Аллах! – бывать у них в гостях.

Миссия была как бы сразу взята под стражу и теперь содержалась под арестом. Даже на плоских крышах глиняных мазанок, в которых изнывали от жары и насекомых члены экспедиции, днём и ночью торчали хивинцы, подсматривая в отверстия, сделанные в потолке, за тем, что происходило в жилище у русских.

В эти тягостно-душные дни, когда все изнывали от зноя и не знали, куда себя деть в четырёх турлучных стенах, смотрели в потолок, побеленный с китайской «синькой», и, теряясь в догадках, не могли ответить на вопрос, что будет с ними завтра, Игнатьев читал подаренные ему родителями книги: «О подражании Христу» и Евангелие, находя в них источник духовной поддержки и ключ к разрешению всех тревожений. Тогда он и пришёл к мысли, что лучше в тюрьме, в душном хивинском застенке, постоянно читать Новый Завет, за неимением других книг, чем, живя в достатке и комфорте, читать всё, что угодно, кроме Благой вести. Не зря святые отцы говорили: «Когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Евангелие, Бог говорит с нами».

Измученные неопределённостью своего положения (то ли пленники, то ли заложники для будущей расправы с ними?) многие из спутников стали уговаривать Николая Павловича как можно скорее вернуться назад, в Оренбург. С улицы доносились угрозы и призывы расправиться с русским посольством, как это уже случалось в прошлом, напоминая о печальной участи отряда Бековича-Черкасского, истреблённого хивинцами. Масла в огонь подлили и письма эмира бухарского и хана кокандского, в которых они отговаривали Сеид-Мохаммеда от деловых отношений с русскими. (Тут хорошо сработала наша разведка). Эти послания окончательно утвердили хивинцев в решимости запретить русским судам заходить в их воды.

Убедившись, что дипломатическим путём преодолеть встречное сопротивление, всячески усиливаемое английскими агентами, ему не удастся, Игнатьев устно известил Сеид-Мохаммеда о своём намерении прервать переговоры и покинуть столицу его ханства; мол, сидя взаперти, невольно заскучаешь. Да и как не заскучать, если хан, получив в подарок от Игнатьева французскую шарманку, по целым дням заставлял «крутить музыку» своего дворецкого и, когда тот окончательно свернул ей голову, просил русского посланника срочно прислать мастера для починки инструмента. Послан был солдат, кузнец, имевший опыт починки часов. Он так быстро исправил шарманку, что Сеид-Мохаммед, с необычайной силой ощутивший контраст между безысходным отчаянием, в котором пребывал в связи с поломкой любимой игрушки, и своим несказанным блаженством, охватившим его при первых же её звуках, не скрывая своего восторга – искреннего, неподдельного, тотчас предложил ему высокую должность министра.

Солдат, понятно, отказался.

Николай Павлович повторно, теперь уже официально предъявленной нотой, объявил хану, что намерен покинуть Хиву.

Озадаченный таким поворотом, тот выразил желание встретиться с русским посланником лично, пригласив его «на правительственную конференцию», которая непонятно почему должна была состояться поздно ночью.

В посольстве заволновались.

Все, кому стало известно о приглашении, принялись наперебой отговаривать Николая Павловича от предстоящей встречи с владыкой Хивы.

– Мы не должны принимать их условия! – воскликнул коренной оренбуржец подполковник Николай Гаврилович Залесов, возмущённо хмуря брови. Его офицерский китель, так же, как и мундир Игнатъева, украшал значок выпускника Николаевской Академии Генерального штаба. – Честные люди по ночам спят!

После мучительных раздумий Игнатъев всё же решил использовать последний шанс для удовлетворения наших требований, но, на случай непредвиденного исхода, взял с собой два заряженных револьвера, двух лихих уральских казаков и отдал начальнику своего конвоя запечатанный конверт, с приказом вскрыть его через час после своего отъезда. В пакете было приказание готовиться к бою и ожидать исхода ночной «конференции», действуя по обстоятельствам для спасения и возвращения в Россию.

Дмитрий Скачков, преданный его слуга, обладавший недюжинной силой, могучим ростом и телосложением, тоже порывался пойти с ним на «рандеву» с ханом, но Николай Павлович велел ему остаться.

Чем меньше штаб, тем легче выиграть сражение.

Обстановка встречи была удручающей. У ворот ханского дворца торчали два высоченных кола, на которых мучились казнимые.

«Вот подлые души! – слегка оторопев от увиденного, выругался про себя Николай Павлович. – Устроили спектакль».

Он прекрасно понимал, что варварское зрелище должно было воздействовать на его психику самым устрашающим образом.

Несчастные жертвы местного судопроизводства испускали душераздирающие крики, а зловещие блики, отбрасываемые пламенем огромного костра, вздымавшего снопы искр высоко в поднебесье, выхватывали из темноты вооружённых стражей хана.

Спрыгнув с седла, Игнатъев прошёл через узкий коридор охраны и обнаружил Сеид-Мохаммеда в небольшом внутреннем дворике. Тот сидел на сложенном из глины и покрытом коврами возвышении. Сидел так высоко, словно показывая, что ни один из смертных не может до него дотронуться.

На ковре перед ним лежал кинжал и кремневый пистолет, а за спиной находилось зелёное знамя. Там же теснились и несколько телохранителей.

Одет он был согласно местной моде: баранья шапка, ярко-жёлтая куртка, кумачовые шаровары и, наверно, с дюжину халатов, отороченных богатым лисьим мехом – один роскошнее другого.

Правил Сеид-Мохаммед второй год.

Судя по его самодовольно-гордому лицу, глядя на которое, всякий должен был испытывать священный трепет и ещё больше подпадать под его ханскую власть, повелевать людьми ему ужасно нравилось.

Едва Николай Павлович опустился на принесённый за ним казаками складной стул, как хан начал предъявлять неосуществимые территориальные притязания по границам с Россией, вплоть до пределов Персии.

Игнатъев удивился. Перед отъездом в Среднюю Азию его предупредили, что на Востоке не принято сразу отвечать на вопрос, буквально с порога излагая суть дела, ошарашивая гостя или хозяина дома приятной или же, напротив, скорбной новостью. Сначала нужно раскланяться и поинтересоваться здоровьем друг друга, поговорить о погоде, о взаимной дружбе, и не бояться выглядеть глупым, особенно, гостю-христианину, ибо ничто так не льстит мусульманину, как чувство собственного превосходства, тем более, когда заходит дело об уме и его качестве.

Николай Павлович позволил себе не согласиться с неожиданным ультиматумом.

Тогда Сеид-Мохаммед зловеще заметил, что посол-гяур, неверный, должен быть уступчивей, сговорчивей и мягче, потому как полностью находится во власти хана.

Объяснения принимали весьма крутой, острый характер.

Несколько халатников приблизились к Игнатъеву.

Он не на шутку встревожился.

Понимая, что Сеид-Мохаммед жестоко мучим приступами безудержного своенравия и деспотической дури, что он и дальше будет унижать его сверх всякой меры, Николай Павлович запальчиво сказал.

– У русского царя полковников в достатке! Но тот, кто стоит перед вами (он и не заметил, как вскочил со стула) не дастся в руки ни одному человеку.

С этими словами он выхватил револьвер и, охваченный острым чувством грозившей ему опасности, направил его на владыку Хивы.

Уловив в глазах Игнатъева убийственную ярость, хан инстинктивно отшатнулся и заслонился рукой. Его шапка свалилась на землю.

Пользуясь смятением правителя Хивы и его головорезов, Игнатъев демонстративно раскланялся, повернулся через левое плечо и направился к выходу. Казаки тоже выхватили оружие и, держа его наготове, сомкнулись за спиной своего командира.

Халатники попятились.

Дело принимало скверный оборот и могло окончиться весьма плачевно, но тут до слуха Игнатъева донёлся взволнованный голос Залесова, который с тремя казаками и увязавшимся за ними Дмитрием, расталкивал охрану Сеид-Мохаммеда.

Грозя обнажённой шашкой и потрясая револьвером, Скачков не переставал кричать, что «перекрошит всех мошенников, если его не пропустят к русскому послу».

Увидев Игнатъева целым и невредимым, неожиданные его избавители прогорланили такое дружное и мощное «ура!», что стражники невольно расступились и, ошеломлённые внезапным натиском, отхлынули поближе к хану.

Игнатъев быстро вскочил в седло и в сопровождении своих «орлов» вернулся восвояси.

Разумеется, всю ночь не спали: ждали нападения хивинцев.

Каково же было удивление всех членов экспедиции и прежде всего самого Николая Павловича, когда на рассвете от Сеид-Мохаммеда прибыл гонец и, как ни в чём не бывало, сообщил, что хан отпускает русского посла: он может двигаться, куда захочет. Мало того, через несколько часов правитель Хивы прислал подарки Игнатъеву для передачи своему государю: двух аргамаков с полной сбруей и богатый персидский ковёр.

Но вопрос о плавании русских судов по Амударье остался открытым.

Считая порученное ему дело в Хиве оконченным, тем более, что основная цель экспедиции была достигнута, Николай Павлович решил не искушать судьбу, и скомандовал посольству идти в Бухару.

В том, что хивинцы со временем откроют судоходство, он не сомневался. Всё равно он выговорил, вытерпел и вытребовал очень ценные для нашей торговли условия. Ставка пошлины уменьшилась против прежней в четыре раза, права мусульман и православных в

делах купли-продажи были уравнены, да ещё и позволялось теперь прислать в Хиву торгового агента.

– Конечно, – сказал Игнатъев подполковнику Залесову, мерно покачиваясь в седле и шурясь от яркого солнца, – если бы я думал о личной выгоде или начальническом одобрении, я мог бы заключить дипломатический акт, который состоял бы из полутора десятков пунктов, но за которыми всё равно не было никаких гарантий их исполнения.

– Пусть мало, зато с пользой, – промокая потный лоб серым от пыли платком, отозвался на его слова Николай Гаврилович и, разгадав тайный расчёт своего командира, одобрил его действия: – Прервав переговоры, вы, таким образом, оставили правительству открытый и основательный предлог для отправки нового посольства.

– Чему в Генштабе будут только рады, – помня о разведывательной цели экспедиции, заметил Игнатъев.

Направляясь в Бухару, он понимал, что шансов на успех переговоров там будет ещё меньше. Его угнетала мысль, что он проходит полтора года по пустыням даром, но... он всегда утешался тем, что Бог лучше знает цену нашему земному времени, данному нам не для суеты, а для духовного приготовления к иной жизни.

Труднейшая дорога по барханам и растрескавшейся от жары земле при сумасшедшем августовском пекле выматывала душу и сбивала с ног не только обессилевших людей: три боевых коня пали. Осталось восемь – для конвоя. Чтобы не останавливать движение, в посольскую бричку впрягли двух верблюдов.

Десятого сентября достигли бухарской границы и простились с хивинским конвоем, начальник которого всё время делал вид, что спасает посольство от разбойников и гибели, а сам мешал продвижению вперёд, как только мог.

Один из казаков умер от тифа. Пришлось похоронить его в песках.

В двух переходах от Бухары посольству встретился первый бухарский разъезд, а до этого чаще всего попадались навстречу ограбленные русские купцы. Окрестности кишели разбойничьими шайками. Одна из них погналась было за миссией, но, оценив вооружение конвоя и горячность казаков, скоро отстала. Больше всего степных пиратов испугали сигнальные ракеты, пущенные для острастки вверх. Брызги разноцветного огня, освещавшего всё вокруг тёмной холодной ночью, впечатляли.

Четырнадцатого сентября Игнатъеву вручили письмо от бухарского мирзы Азиза, в котором тот сообщал, что эмир не сможет лично встретить русского посла, так как выступил с войском против кокандского хана.

«В пятницу всё назад пятится», – с огорчением вздохнул Николай Павлович, хотя на самом деле было воскресенье (он специально глянул в календарь). Переход был настолько тяжёлым, а шансы на успех переговоров столь сомнительны, что он уже не рад был ничему; ни проявленному мирзой Азизом уважению к посольству, ни тому, что вдалеке, в текуче-знойном мареве пустыни, – наконец-то! – показалась Бухара с её бесценными глубокими колодцами.

Это было весьма кстати, так как вода в посольских бочках окончательно протухла: в ней завелись водяные вши. Есть было нечего. Пришлось забить верблюдов, чтобы самим не пропасть.

Двадцать второго, в понедельник, торжественно вступили в Бухару.

Большой просторный дом, в котором поместили миссию, располагался близко от дворца эмира. Игнатъеву отвели комнату на втором этаже, с окнами на обе стороны и очень удобной террасой, напоминавшей балкон. Но из помещений, так же, как и в Хиве, никто не выходил, чтобы посольство не обвинили в шпионаже. Письма тоже не писали: письма для бухарцев всегда секретные послания, а значит, вредные для их страны. Но, когда Игнатъеву намекнули, что в Бухаре неверным лучше носить халат и чалму, он приказом по экспедиции запретил своим спутникам снимать военные мундиры русской армии, решительно отказавшись понять намёк.

Узнав поближе обитателей пустыни, он теперь хорошо понимал, что горе тому дипломату, который с первого шага соглашается играть жалкую роль марионетки. Ничто так не ценится народами Востока, как чувство собственного достоинства.

Одиннадцатого октября из военного похода, предпринятого против Коканда, в Бухару возвратился эмир Наср-Улла и тотчас пригласил Игнатъева к себе. Обстановка в его дворце была совсем иной, нежели в Хиве.

После обычных и обоюдных приветствий, после пожелания Наср-Улле долголетия и благополучного царствования Николай Павлович вкратце изложил свои требования, почти полностью совпадавшие с теми, что он предъявлял и Сеид-Мохаммеду в Хиве.

Эмир с неожиданной лёгкостью удовлетворил их.

В знак дружбы он даже протянул руку молодому послу, который встал, чтобы откланяться.

Всё складывалось как нельзя лучше.

Затем Наср-Улла изъявил желание письменно скрепить дружбу России с Бухарой, чего, собственно, и хотел Николай Павлович.

После удачной аудиенции мудрому Наср-Улле были переданы подарки от государя императора Александра II, которые были перенесены во дворец в торжественной обстановке. По всей видимости, эмир остался доволен этими подношениями, так как удовлетворил ещё одну просьбу русского посла: отпустил на родину всех его сограждан, томившихся в чужеземной неволе. Но всё могло повернуться и иначе. Дело в том, что у одного русского, пребывавшего в плену у местного военачальника, при осмотре вещей обнаружился пухлый карманный молитвенник, на страницах которого его бывший владелец английский агент Стоддарт, сидя на дне бухарского клоповника, вёл свои предсмертные заметки. Некоторые из них были начертаны иголкой, омоченной кровью. Молитвенник этот был тут же выкуплен Игнатъевым у бывшего пленника и возвращён затем семье Стоддарта, в Англию. Что ни говори, свой брат – разведчик.

В целом, успех миссии был налицо. Она свершила поставленную перед ней задачу в наикратчайший срок и с честью доказала, что горстка энтузиастов, несмотря на разнообразные препятствия, противодействия, с угрозой и риском для жизни, прошла в Хиву и Бухару, и по Сырдарье вернулась в киргизскую степь. Изведав недоступную дотоле Амударью на протяжении шестисот вёрст её течения, миссия произвела обширную топографическую съёмку, собрала разносторонние сведения – вплоть до астрономических! – о пройденной стране, а также о соседних местностях. Игнатъев подписал договор с Бухарой и освободил из неволи русских подданных, доказав всем пограничным жителям, что ни эмир Наср-Улла, ни хан Сеид-Мохаммед не смеют держать рабами наших земляков.

Николай Павлович ликовал, хотя вида не показывал. Важно было продемонстрировать, что русский подданный, где бы он ни был, всегда под опекой своего правительства. И этот ход оказался верным.

А ещё Игнатъева развеселила новость, которую ему шепнул мирза Азиз. Оказывается, эмир увлёкся подаренной ему резиновой подушкой. Желая посмеяться, он заставлял великого везира скакать на ней, как бы на лошади, и очень потешался, когда она похабно испускала воздух.

Двадцать седьмого октября – рано утром! – Наср-Улла прислал подарки не только Игнатъеву как главе миссии, но и всем его сотрудникам, и даже нижним чинам, как бы намекая на то, что правоверные магометане – люди добрые. Безбожники, да, они злые. Но это во всяком народе, не так ли?

Впервые Россия заключила договор с иноземным государством без каких бы то ни было уступок со своей стороны.

Николай Павлович предпочитал заискиваниям перед соседями твёрдую и решительную постановку вопросов, и ему удавалось бы сделать куда больше для бесконечно любимого им

Отечества, если бы министерство иностранных дел не держалось зачастую в своих категоричных предписаниях противоположного правила.

Шестого декабря, в день своих именин, Игнатъев прибыл в Оренбург. Было десять часов вечера. Позади были пески, жара, клопы и скорпионы, тележный скрип колёс и дикие вопли разбойников, тухлая вода, степная ширь и миражи пустыни, зимние вьюги, лютый мороз, угроза пропасть без вести, быть погребённым в снегах, как пропал без вести в пургу один из проводников-киргизов. Он отошёл от повозки на два шага и запропал в снежной замяти. Ему кричали, звали, – без отзыва! Другой киргиз, слезший с верблюда, чтобы отыскать удобный выезд из оврага, куда скатились обозные сани, также исчез в метельной круговерти. Буран свирепствовал всю ночь, весь день, и лишь к исходу вторых суток поутих. И сразу выглянуло солнце.

Прибыв в Оренбург, Николай Павлович, как был, прямо с дороги, в полукиргизском облачении, явился в дом генерал-губернатора, где проходило собрание, и просил адъютанта вызвать Александра Андреевича.

Катенин ахнул, увидев Игнатъева, да ещё в азиатской одежде.

– Глазам не верю! Вы ли это? – проговорил он, вглядываясь в Николая Павловича, как в человека, неожиданно вернувшегося с того света. И сразу же сказал, что в Петербург они поедут вместе.

Дорогу через Симбирск и Москву, несмотря на жесточайшие морозы, они преодолели быстро: на почтовых до Москвы, а дальше поездом.

В Петербург Игнатъев вернулся до Рождества, и его возвращение в столицу было полной неожиданностью для всех, так как Катенин успел донести сюда мрачную весть о гибели посольства.

Когда, живой и невредимый, переполненный чувством доблестно исполненного долга, Игнатъев без доклада вошёл в кабинет отца и застал его за чашкой чая – московский поезд тогда приходил рано утром, – отец был так поражён его появлением, что невольно стал креститься и крестить сына издали, как бы преследуемый наваждением.

Александр II, прочитав Игнатъевскую отчётную записку о деятельности миссии, начертал на ней слова своей оценки: «Читал с большим любопытством и удовольствием. Надо отдать справедливость генерал-майору Игнатъеву, что он действовал умно и ловко большего достигнул, нежели мы могли ожидать».

25 декабря 1858 года, двадцати шести лет от роду, Игнатъев был произведён в генералы. Надо ли говорить, как гордились им родные и завидовали сослуживцы. Ещё бы: самый молодой генерал в России!

«Генерал-мальчишка», – фыркали завистники.

На груди Николая Павловича засияла новая награда: орден св. Анны 2-й степени с короной.

Вот и выходит, что и он побывал в переделках, и он спал под открытым небом, как его вице-консул Леонтьев, полковой медик и лихой рубака, и он рисковал жизнью, но не ради собственного молодечества и неуёмной удали, а ради чести и пользы России. Да и сейчас вот, разговаривая с Константином Николаевичем в своём посольском кабинете, он думает, прежде всего, о том, как лучше выстроить свои отношения с турецким правительством и посланниками западных держав, как внушить султану мысль о важности добрососедства и при этом всячески поддерживать славян в их справедливой борьбе за свободу?

Глава VIII

Объясняя суть конфликта, Леонтьев разом оживился и стал помогать себе жестами.

– Я не привык сидеть на краешке стола да ещё на кончике стула, в самом углу, откуда выбраться нет никакой возможности, когда паршивый лягушатник поносит мою Родину. Я опрокину стол и дам ему по роже!

– Не волнуйтесь, Константин Николаевич, – радуясь такой его позиции, с улыбкой произнёс Игнатъев. – Я целиком на вашей стороне. Мне нравится ваша решимость бить недругов по мордам. Нельзя допустить, чтобы русская дипломатия утратила чувство самоидентичности. Наши западные коллеги, впрочем, как и все недружественные нам политики Европы, должны быть приучены к тому, что в глазах у русских патриотов они никогда не прочтут свойственные им наглость и робость, но зато им всегда придётся наткнуться на прямой ответный взгляд, который будет заставлять их опускать глаза! Ведь в этом взгляде будет мужество, решимость биться до конца и воля к сокрушительной победе! – Его лицо порозовело, а глаза горели от безудержной отваги, точно он бросал противнику перчатку, вызывая того на дуэль, или же сам – бесстрашно! – принимал смертельный вызов. Он был поистине хорош в эту минуту. – А посему запомните: мы своих не выдаём. Вы у меня главный претендент на первое вакантное место консула. Пока оставайтесь в Адрианополе, а затем я подумаю, куда вас откомандировать. Вероятнее всего, в Тульчу.

– Сочту за честь быть полезным Отечеству.

Леонтьев с чувством пожал руку и надолго замолчал, словно выражал тем самым искреннюю благодарность.

Николай Павлович сразу же отметил про себя, что другой на его месте сказал бы несколько иначе: «...быть полезным вам» или «вашему превосходительству», а Леонтьев вот как произнёс: «Отечеству»! – и это лучше всяких слов характеризовало его как истинного патриота.

Игнатъеву очень понравился такой ответ, и он попросил новоявленного консула поделиться своим видением турецкого общества.

– В особенности интересно умонастроение болгар.

Леонтьев долго смотрел в пол, затем поднял глаза. Красивые глаза мечтательного человека.

– Как флорентийская уния стала причиной гибели Византии, так и греко-католическая столкнёт болгар в пропасть истории. Живя в Андрианополе, общаясь с тамошним народом, я довольно скоро понял, что определённой части болгар, поражённой тлём католицизма, а она не так уж и мала, очень претит стремление православной России опекать их соплеменников, как в настоящем, так и в будущем. Эта часть всячески нападает на сторонников нашего влияния, используя любой удобный случай для охаивания государственного устройства российской империи и лично императора.

– Что заставляет болгар принимать униатство?

– Крайняя бедность. Почти нищета.

– Трудно найти работу? – предположил Игнатъев, чьи щёки всё ещё пылали.

– Православным – да, – сказал Леонтьев. – Чтобы придерживаться своих религиозных взглядов, их надо, прежде всего, иметь; равно как необходимо обладать определённым мужеством и, если хотите, смелостью в отстаивании своей точки зрения. Среди известных мне болгар таких людей не густо.

– Как вы думаете, отчего?

– А тут и думать нечего, – без всяких уловок ответил он. – Болгары, находясь под многолетним игом, исчисляемым веками, привыкли лгать и лицемерить так, что за них частенько становится стыдно.

– А что греки?

– Они держатся за счёт своих святых. Но католичество и их берёт за горло.

– В какой форме?

– Играет на их сребролюбии.

– Они настолько любят деньги, что поддаются чужому влиянию? – Николай Павлович был рад, что затеял беседу. Его визави отвечал умно, предельно честно, говорил, что думал, без досадных недомолвок и заячьих скидок в ту или иную сторону. – Все те греки, с которыми я вынужден был иметь дело по своей консульской занятости, – после секундной запинки ответил Леонтъев, – были попросту скучны. Они скучны своим упрямым стремлением первенствовать. В каждом из них Вавилонская башня гордыни. Я не скажу, что они болтуны, пустобрёхи. Люди они хваткие, бесспорно. Купцы, банкиры, адвокаты; доктора, учительствующий клан. В греческой среде уйма судейских, способных укатать в тюрьму даже покойника за громогласное хуление султана.

– Одним словом, – разулыбался Игнатъев, которому понравилась остроумная красочность фразы, – легче печной дым примять коленом и затолкать в трубу, чем перехитрить их шайку-лейку.

– Они действительно хитры как иудеи.

– А как они между собой живут? – Спросил Игнатъев. – Греки и болгары?

– Плохо, – ни секунды не колеблясь, ответил Леонтъев. – У болгар свои обиды, у греков свои. Вековечные.

– Значит, союз их невозможен?

– Никогда.

– Ни под каким политическим соусом?

– Нет.

– Как вы думаете, отчего?

– Я много размышлял на эту тему. Должно быть, дело в том, что греки самоё цивилизация, вы понимаете, о чём я говорю, а современные болгары, как вы к ним не относитесь, это всего лишь племя. А так, в политическом смысле, богатые и умные болгары мечтают об одном: они хотели бы войти в состав России с губернским административным устройством Болгарии: Тырновская губерния, Софийская, Варнинская.

Николай Павлович слушал его с большим вниманием и, говоря о болгарях и греках, стал расспрашивать о турках. Каковы они – стамбульские аборигены?

Леонтъев усмехнулся.

– Турок прост. Любого европейца он считает остолопом.

– Это ещё почему? – спросил Игнатъев, желающий как можно лучше разобраться в психологии коренных жителей. – Из-за разницы в религиозном воспитании, или причина коренится в чём-то ином, более скрытом и трудноуловимом?

Его вице-консул плотно сомкнул губы, пощипал свою короткую, но тщательно подстриженную бороду и после паузы ответил.

– Религия здесь ни при чём. Всё объясняется банальным сребролюбием, которое внушает турку глубочайшее презрение к тем, кто неразумно тратит деньги, путешествуя по миру. Вот отчего Стамбул немислим без его дороговизны, совершенно зверских цен, способных разорить любого пилигрима, и совсем непредставим без того множества нахальных попрошаек, что шагу не дают ступить, пока ты от них не откупишься. Турок считает своей святой обязанностью облегчить карман европейца. Вы сами видели, какое количество лодок, шлюпок и каиков окружило ваш посольский пароход, едва он стал на якорь.

– Это так, – отозвался Игнатъев. В памяти запечатлелись не только безоблачно ясное небо и совершенно спокойные воды Босфора в день его прибытия в Константинополь, но и густая масса разнообразных лодок, из которых по-пиратски, словно взяли пароход на абордаж, по узким трапам и веревкам, перегоняя друг друга, стали рьяно, но отнюдь не дружно, карабкаться галдящие лодочники. Они напоминали собою саранчу: трескучую и страшно ненасытную. В мгновение ока заполнив палубу третьего класса, бранясь, неистово толкаясь и отча-

янно жестикулируя, лодочники почти силой вырывали вещи у ошеломлённых пассажиров и столь незамысловатым образом обеспечивали себе заработок, доставляя прибывших на берег. Капитан «Тамани» тщетно орал в рупор, норовя утихомирить и угомонить «чёртово семя», не обращавшее никакого внимания на его угрозы и словесные пассажи. Слеплённые жаждой поживы, местные приматы воспринимали матросскую зуботычину или увесистую оплеуху малороссийского бурсака, всячески оберегавшего старушку-мать от грубых притеснений на её пути в Иерусалим, как вполне резонные и потому нисколько не обидные. Складывалось впечатление, что и затрещины, и оплеухи лишь добавляли им отчаянной весёлости.

– Повторяю, – после небольшой заминки вновь заговорил Леонтьев, – турок прост. Ничего его так не угнетает, как необходимость умственной работы, не связанной с торговой выручкой или оплатой за любое своё действие в пользу другого. Вы хотите узнать, как пройти в кофейню Ибрагима-оглу? Платите. Не знаете, где подковать лошадь или нанять коляску? Раскошелитесь. И так во всё. Деньги и кейф – вот всё, о чём способен думать и чему готов служить абориген в своих широких, словно паруса испанской каравеллы, шароварах. Гордыня и корыстолюбие вертят им с невероятной лёгкостью, и турок радуется им, как дети ласковым родителям. Вы спросите, к чему же он стремится? Я не знаю. Заветное желание любого турка – жениться на красавице. Если не получится разбогатеть. Турок не мечтатель, как положим, тот же русский; и не шутник, подобно бедному еврею, обременённому большим семейством и тайной своего происхождения. Но! – воскликнул Константин Николаевич, вкладывая в этот возглас радость только что рождённой мысли. – Если вы и найдёте где-то людей здравомыслящих, так это среди турок.

– Занятно, – сказал Николай Павлович и поинтересовался мнением своего нового резидента о дипломатии вообще и русской в частности.

Леонтьев пригладил усы, соединявшиеся в углах губ с темно-русой бородкой, и, не меняя позы в кресле, разве что подавшись чуточку вперёд, стал делиться своими раздумьями.

– Истинная дипломатия, – сказал он, как бы вдохновляясь новой темой, – не терпит отвлечённости, размытости и благодушествования. Заодно она не терпит колебаний, иждивенчества, вялости воли и особенно, – он посмотрел прямо в глаза, – всезнайства, сильно вредящих самой сути дипломатии, которая преследует весьма практические цели и должна вести себя на рынке политических амбиций как расчётливая экономка, закупающая для господского стола всё лучшее из тех продуктов, что ей предлагают. – Николай Павлович невольно улыбнулся и мысленно похвалил Леонтьева за столь живую образную речь. А тот, увлечшись, продолжал с особым жаром. – Её опытность в отборе мяса, птицы или рыбы, не говоря уже о фруктах-овощах, о той же зелени в виде петрушки или сельдерея, лучшая гарантия того, что ей не подсунут порченный товар и приготовленный обед выйдет на славу. – Он перевёл дух и взволнованно продолжил. – Такова дипломатия Англии, Франции и Австро-Венгрии вкупе с неумно-жадной Пруссией, мечтающей оттяпать для себя кусок побольше и, если можно, пожирнее. Это всем известно! Так почему же мы как представители России должны заглядывать через плечо и брать не то, что нам понравилось и приглянулось, а то, что нам оставят на прилавке? – Слово «оставят» он проговорил с явной растяжкой ничем не прикрытой иронии, что Николаю Павловичу тоже пришлось по душе. – И ещё, – воспламенился Леонтьев, как человек, приученный к жарким дискуссиям, – в дипломатии нет смысла делать то, что до тебя никто не делал; в ней нет сверхидеи, но она немислима без твёрдого отношения к реальности и преемственности тех традиций, которые легли в её основу.

– Я тоже полагаю так, – сказал Игнатъев. – Ведь революции, которые происходят по всему миру, а значит и конфликты, порождаемые ими, идут всё в том же неизменном русле – русле Большого заговора, то есть, традиции.

В окончание беседы он предупредил Константина Николаевича, чтобы он как можно скорее расплатился с кредиторами и не забыл получить в кассе посольства причитающиеся ему деньги.

– Но я уже истратил своё месячное жалованье, – повинно склонив голову, пробормотал Леонтъев.

– Можете считать, что я его удвоил, – сказал Николай Павлович, отметив про себя, что его сотрудник, как многие умные люди, занятые делом, а не праздной болтовнёй, мало обращал внимание на то, как был одет, хотя, возможно, будучи натурой творческой, с художнической жилкой, живо подмечал влияние моды на покрой мужского платья.

Судя по облачению, его вице-консул сильно нуждался в деньгах.

Глава IX

Познакомившись с посланниками западных держав и поговорив с каждым из них накоротке, Николай Павлович понял, что самым животрепещущим для них был румынский вопрос.

Летом 1864 года, ещё до приезда Игнатъева в Константинополь, в столицу Порты Оттоманской прибыл румынский князь Куза, устроивший переворот у себя дома, в Соединённых княжествах. Ему срочно требовалось решить ряд вопросов чрезвычайной важности, которые касались изменения в конституциях княжеств, на что нужны были соответствующие санкции Порты и её главных союзников. Во время своего довольно длительного пребывания в столице Турции он держался от русского посольства как можно дальше, не отдал даже банального визита вежливости Новикову, который в силу этого не мог принимать участия в переговорах, ради которых мятежный князь Куза и приехал. По всей видимости, румынский возмутитель спокойствия догадывался, что представитель России настроен решительно против его домогательств и совершённых им действий. А иначе и быть не могло! Егор Петрович Новиков, следуя инструкциям, полученным от Горчакова, настаивал на том, чтобы державы высказали князю своё порицание. Да не простое, коллективное. Но где там! Французский посланник маркиз де Мустье взял румына под свою опеку, и тот с легкостью добился всего, чего хотел. Князь Куза был доволен: русским опять утёрли нос! Прошли те времена, когда румыны искали благосклонности двуглавого орла, способного одним ударом клюва размозжить любую бунтарскую голову.

Стоя у окна в своём посольском кабинете, глядя, как темнеют-лиловеют облака на остывающем закатном небе, кое-где уже усеянном яркими звездами, Николай Павлович задался целью в корне изменить испортившиеся отношения с Румынией, видя в ней союзника России. Пусть не сразу, но хотя бы через годы.

Встречаясь с иностранными послами и турецкими министрами, он непрестанно доказывал им, как опасно революционное поведение Кузы и что необходимо срочно восстановить достоинство держав, на которое оно невольно посягало. И дело, кажется, пошло, стало сдвигаться с мёртвой точки! Великий везир Аали-паша стал соглашаться с тем, что говорил ему русский посол. Это придавало сил, бойцовски улучшало настроение, вселяло бодрость и уверенность в себе, когда бы ни болезнь сынишки. По всей видимости, он простыл. У него внезапно загорелись щеки, появился кашель, он всё время просил пить.

Няня не спускала малыша с рук, поила гранатовым соком, разбавленным тёплой водой, протирала тельце уксусом, и время от времени, хлюпая носом: «Ангел мой, манюнечка!», передавала его Екатерине Леонидовне, глаза которой тотчас наполнялись страхом: что-то будет? Павлик рос здоровым, крепким малышом, и вдруг такое! Екатерина Леонидовна губами пробовала его лоб – лоб был горячим. «Господи, помилуй!» – молила она, желая скорого выздоровления сынишке. – Неизреченная милость Твоя...»

К ночи жар усилился.

Вызвали посольского врача. Доктора Меринга.

Тот пощупал пульс, послушал лёгкие, осмотрел горло.

– Зев красный, но не дифтерийный, – сказал он сам себе и повернулся к Игнатъеву, который наблюдал за его действиями. – Скорее всего, скарлатина, – сообщил он бодрым, успокаивающим голосом, и, примостившись за журнальным столиком в гостиной, выписал необходимые микстуры и какой-то сложный порошок, забавно шевеля губами: «Мисце. Да. Сигна».

– Смешай. Выдай. Обозначь, – вполне довольный сочинёнными рецептами и закорючным своим почерком, повторил он по-русски и выразил желание самому съездить в аптеку и заказать нужные снадобья.

– Нет, вы уж оставайтесь, – мягко попросил Николай Павлович, встревожившийся не на шутку. – Мало ли чего.

В аптеку решено было отправить Михаила Хитрово. Не прошло и часа, как он вернулся с нужными лекарствами.

Как ни противились жена и няня, отсылая его спать, Игнатъев так и не прилёг. Он всё равно не заснул бы: не в его характере думать о себе, когда домашним худо. Тем более, сынишке. Николай Павлович назвал своего первенца Павлом в честь отца, как и отец нарёк его в честь своего отца, чтоб связь родства, времён и поколений, не пресеклась, была нерасторжимою из века в век.

Так неужели эта связь прервётся?

Взяв Павлика на руки, он не отдавал его няньке до самого позднего часа, когда сынишка задремал и его уложили в кроватку.

«Боже правый, буди воля Твоя и на мне, и на сыне моём, – непрестанно звучало в его голове. – Не оставь нас, спаси и помилуй».

Ничто так быстро не овладевает родительским сердцем, как страх за жизнь своих детей! На первом месте он, этот извечный допотопный ужас смерти. За ним стоят и голод, и любовь, и всё на свете.

Поутру Николай Павлович молился в церкви и весь день не покидал посольства, при первой же возможности заглядывая в детскую. Павлушке вроде полегчало: жар прошел, кашель уменьшился, но стоять малыш не мог – просился на руки. Ел с аппетитом, но его тут же тошнило, и он плакал, как взрослый, сильно напуганный рвотой. Иногда он хватался руками за голову и начинал сучить ножками, словно их прижигали железом.

– Сглазили мальчонку! – сетовал камердинер Дмитрий Скачков, сильно привязавшийся к Павлику за последние месяцы. Можно сказать, с того момента, как тот научился ходить. Он любил подкидывать его, хохочущего от испуга и восторга, «к самому солнышку», и крепко прижимать к себе, когда тот обнимал его за шею. – Как есть сглазили.

Шли дни, а состояние Павлика не улучшалось.

– Ты моя радость, ты моя умница, – Екатерина Леонидовна ласково гладила сына, а по лицу её текли и текли слёзы. Если пять дней назад она была расстроена его болезнью, то теперь она была ею подавлена.

Николай Павлович, как мог, оберегал её от лишних треволений.

– Всё будет хорошо. Крепись, дружок.

Она, конечно же, крепилась, и, смаргивая слёзы, причитала:

– Это мне в наказание, да! Я так постыдно радовалась своему успеху, так безумно была счастлива, когда меня избрали «королевой», так грешно тщеславилась, осыпанная пышными цветами, млела от рукоплесканий, что Господь, наверное, решил меня окоротить, унять мою гордыню, отрезвить болезнью сына.

– Кого Господь любит, того и наказывает, – тяжело вздыхал Игнатъев, глядя на жену, на которую больно было смотреть. Вечером он неожиданно вспомнил, как вскоре после венчания, в одну из белых июньских ночей, жена первой предложила ему обменяться нательными крестиками.

– Теперь ты мой, а я твоя, – сказала она радостно, когда они произвели «обмен» и долго потом страстно целовались.

Теперь они плачут и молятся.

Сердце маялось в страхе и трепете: неужели всё? Ребёнка не спасти? И нет таких врачей, и нет таких лекарств, а главное, что нет таких молитв, чтоб отступил недуг, чтоб сохранить их первенца для них, его родителей, для их земного счастья?..

Нет ответа на эти вопросы.

Молчит икона Богородицы, подаренная матерью на свадьбу, молчит Спаситель, строго смотрит Николай Угодник; не утешает Евангелие, раскрытое наугад, молчат стены просторной квартиры. Всё молчит, только сердце мятётся и стонет.

Под утро помёл снег, летевший по косой.

Надсадно, хрипло, заполошно каркали вороны.

Если в разгар болезни Павлик кричал так, что посинел от крика, то теперь он плакал-жаловался так, что все вокруг него глотали слёзы. Он уже не в силах был сидеть, валился набок и закатывал глаза.

Жар не проходил, а тельце коченело.

Вновь и вновь посылали за доктором, чьё лицо за эти дни заметно посерело, приобрело угрюмо-виноватый вид и заметно осунулось. Он всё чаще смотрел в угол комнаты, затем переводил глаза на Николая Павловича, как бы ища его поддержки, и хлипким, жалким голосом произносил, что он «не Господь Бог», и сделать ничего не может.

– Я исчерпал запасы своих знаний. Если это инфлюэнца, то современная медицина, – он не договаривал и безнадежно разводил руками.

– Сделайте же что-нибудь! – заламывала руки Екатерина Леонидовна, и на её лице, искажённом гримасой отчаяния, был написан панический ужас.

В такие минуты Николаю Павловичу становилось страшно за неё: как бы с ума не сошла! А ведь ей несколько нельзя волноваться – в её положении. Он безмерно сострадал жене и, оставаясь с ней наедине, усиленно бодрился, отчего страдание было ещё острее. Он укорял и презирал себя за то, что никак не мог найти успокоительных слов ни для себя, ни для Катеньки. Он любил, он обожал её, но успокоить не мог. И сделать ничего не мог, чтобы помочь сынишке.

– Может, обратиться к англичанам? – хватаясь за соломинку надежды, спросил он у понурившегося Меринга.

– Нет смысла, – покачал тот головой. – Ребёнок явно угасает.

На лице Игнатъева, должно быть, прочитались неприязнь и мука, потому что эскулап повинно опустил глаза и больше их не поднимал.

– Всё кончено, – убито прошептала Екатерина Леонидовна и повалилась на постель. – Я не переживу.

До крайности измученная горем, она была уже не в силах ни что-то сделать, ни что-то сказать. Пластом лежала, обездвиженная горем. Николай Павлович сам уронил голову в ладони, не зная, как ободрить жену и где найти силы для собственного утешения.

Страшно было слышать дыхание Павлика, его страдальческие стоны, продолжавшиеся двое суток напролёт. А тут ещё собачка Юзька, пекинес, которую Игнатъев привёз из Китая, скулила всё громче, отчаянней...

Доктор держал руку Екатерины Леонидовны, просил употреблять лекарства, приготовленные для неё, не поддаваться панике и как можно больше времени проводить на воздухе ради будущего малыша.

– Иначе начнётся горячка, – объяснил он горестно притихшему Игнатъеву, – и тогда может случиться... м-да... непоправимое.

– Есть угроза её жизни?

– Угроза потери плода.

Через двое суток, в девять часов утра Павлик затих. Ему как будто стало лучше. Какое-то время он лежал с открытыми глазами, потом ресницы его дрогнули, он улыбнулся, сжал пальчики для крестного знамения – и зловещая тень смерти обескровила его лицо.

Глаза Екатерины Леонидовны расширились, зрачки остановились. В немом отчаянии она смотрела на него, такого тихого, угасшего навеки.

Николай Павлович едва сдержался, чтоб не зарыдать, но позже, ночью, читая Псалтырь в изголовье сынишки, он безпрестанно глотал слёзы.

На календарном отрывном листке стояла дата, врезавшаяся в его память на всю жизнь: год 1865-й, 8-е января, четверг.

Не было слов для выражения того, что творилось у него в душе, и что перечувствовала Катя последние пять дней тяжкой болезни Павлуши. Кто терял детей, тот знает.

Телеграмму родителям Николай Павлович решил не отбивать. Он искренно считал, что телеграфное сообщение никак не годится для горестных известий. У его матери и так слабое сердце.

Но и за письмо садиться не было сил. Духа не хватало. И, вместе с тем, его так и тянуло в Петербург, к родителям – и мысленно и сердцем. Он привык делиться с ними радостью и горем, а теперь горе через край переливалось!

Дмитрий Скачков изладил детский гробик, найдя в каретном сарае стопку сухих кипарисовых досок, и, пока сколачивал его, нет-нет, да и возил рукой по скулам, влажным от мокрого снега и сырости, отцеженной душевной болью. Промокал глаза платком и радовался, что никто его сейчас не видит. Он искренне жалел своего барина, жалел его жену, а получалось, вроде как жалел себя, явственно помнящего, как ещё три недели назад Павлик, хорошенький, словно куклёнок, вскарабкавшись к нему на плечи, в благодарность за утеху, спрашивал: «Не спеть ли тебе песенку, Димитлий?»

Песня была славная – про ёлочку в лесу.

Да, Дмитрий жалел себя и знал, что это плохо: Богу тоже нужны ангелы. Знал и ничего не мог с собой поделывать – отжимал с ресниц мокреть.

– Хороша юшка, да больно солона, – слизывая слёзы с губ, шмурыгал он носом, пытаясь хоть как-то приструнить себя, чтобы не нюнитья.

Ветер шевелил его взъерошенные волосы, охлаждал спину и сметал с верстака стружку, горько пахнущую снегом и смолой.

По желанию Екатерины Леонидовны гроб поставили в свинцовый ящик, а сей поместили в дубовый, для удобства перевозки в Россию. Ей хотелось перевезти «маленького» в Петербург и положить в Сергиевой пустыни, рядом с умершими во младенчестве братьями Николая Павловича и его малолетней сестрой, или где-либо поблизости.

Игнатъев всегда был против того, чтобы перевозить тела умерших, но, уступая жене, решил при первом же удобном случае написать родителям о постигшем их с Катей горе и попросить их найти землю для захоронения.

А погода разгулялась, как весной. Солнце светило по-летнему, воздух прогрелся, подул ласковый ветер. В день, когда Николай Павлович положил сынишку в гробик, небо было яснее обычного, и ему сразу же подумалось: «Небо радостно встречает нашего Ангела».

Покойного Павлика сфотографировали – снимок удался, а кудрявые локоны (его обстригли ранее для ледяных примочек) Екатерина Леонидовна спрятала под образа. Крестик первенца надела на себя.

Глядя на неё в эти минуты, Игнатъев с горестным сердцем признавался самому себе, что, если бы можно было полюбить Катю более, нежели он её любит, то, конечно, чувство его к ней, в это горчайшее из испытаний, удесятерилось бы.

На следующий день, в субботу, он свёз своего малютку в Буюкдере на пароходе и оставил его в церкви, заказав в городе маленький склеп, где должны были находиться останки его первенца.

Все сослуживцы, все чины посольства, духовенство и дипломатический корпус показали ему живейшее участие. Чиновники миссии несли гроб до пристани и потом снова в Буюкдере, до летней резиденции и устроенной в ней церкви.

На константинопольском берегу похоронную процессию ожидало греческое духовенство и мальчики духовных школ – в белых одеждах, с ветвями персидской сирени в руках.

В Буюкдере гробик открыли. Николай Павлович ещё несколько раз поцеловал ручки и лобик своего первенца, отметив про себя, что он ничуть не изменился.

Тёща Анна Матвеевна была на отпевании, а потом оставалась с Катей, которая лишилась чувств.

Игнатъев подхватил жену на руки и сопровождаемый горестно причитающей Анной Матвеевной, не столько помогавшей ему, сколько мешавшей, быстро отнёс в гостиную и оставил на попечении доктора, сказавшего, что обморок – своеобразная защита организма и что защита эта благодатна.

Слова доктора придали ему сил, и он немного успокоился, так как боялся, что глаза его любимой Катеньки, такие ласковые, светлые, родные, навеки потемнеют, вберут в себя провальный цвет могилы с её холодной жуткой немотой.

Смерть сына стала для Николая Павловича ужасным потрясением, а что творилось в душе его беременной жены, одному Богу известно.

После похорон он долго не мог найти себе место, всё кружил и кружил по кабинету, словно в его челюсть врезался кулак молотобойца с зажатой в нём свинчаткой. Нет, он не лягнул зубами, не мотнул головой и не скрутил винтом ноги, хряснувшись лопатками о землю, но в глазах его теперь стоял туман, стелился дым сельской избы, топившейся по-чёрному. Дым смрадный, горестно-удушливый, как над коптильней или смолокурней. В голове, раскалывавшейся от боли, никак не укладывалось, что его Павлуши больше нет. Он понимал, что покойников в доме не держат, их надо предавать земле, но сердце не смирялось с тем, что у людей вошло в обычай.

Уха, кутья, кисель из сухофруктов.

Мысли стали рваными, чужими.

Он никак не мог додумать ни одной из них. И это его тоже убивало, заставляло сомневаться в своих силах. Всё чаще и чаще он задавался трудными, упрямыми вопросами: сумеет ли он изменить обстоятельства в свою пользу? Получится ли у него теперь, после такого горя, нарушить сложившееся в Турции равновесие действующих внутри неё общественных и политических сил? Способен ли он, пришибленный потерей сына, найти форму взаимодействия с этими структурами, чтобы содержание будущих реформ султана, о которых неустанно говорят на всех константинопольских углах, всемерно содействовало интересам российской империи? Затратив уйму средств и собственной энергии, добьётся ли он нужной ему кульминации, позволит ли она осуществить всё то, что хочется, просто не терпится, сделать?

Размышляя таким образом, задавая себе трудные вопросы и не находя на них ответа, он ощущал себя тшедушным лилипутом, вознамерившимся в одиночку сдвинуть с места товарный вагон, доверху нагруженный щебёнкой.

Но даже и сдвинь он его на пол-локтя, важно ведь не действие, а значение происходящего, наглядный результат, ярко окрашенный в розовый цвет.

Мысли ходили по кругу и круг этот всё время расширялся, как расширялся круг его дипломатических забот.

А в доме после похорон долго пахло уксусом и мятой.

Глава X

Все члены русского посольства и главы иностранных миссий выразили Игнатъеву свои соболезнования в связи с постигшим его горем. Первым нанёс визит прусский посол Брасье де Сен-Симон Валлад (Мария-Иосиф, граф). Это был опытный известный дипломат весьма преклонных лет, но выглядел он браво. Может, только чуточку сутулился. Уже по одному тону сказанных им утешительных фраз можно было догадаться, что знание дипломатического этикета и чувство внутреннего такта завидно сочетаются в его душе с сердечностью христианина. Пытаясь отвлечь Игнатъева от его горестных мыслей, Брасье де Сен-Симон сказал, что в Турции зима очень короткая, весна обычно жаркая, и осталось, в сущности, не так уж много времени до тех счастливых дней, когда послы разъедутся по загородным дачам.

– Жду не дождусь переезда.

Помня о том, что летняя резиденция немецкого посольства находится в Буюкдере неподалёку от российской, Николай Павлович заверил коллегу, что будет рад общаться с ним хоть каждый день, нашлась бы тема для беседы.

– О! – воскликнул граф. – Тем для разговоров у нас будет предостаточно. Политика это такая штука...

Затем поочерёдно наведались другие.

И каждый, так или иначе, касался событий в Румынии, не забывая спросить, с какой программой Николай Павлович прибыл в Турцию?

– Должен сказать, – сморщил нос представитель королевской Англии лорд Литтон (он же барон Даллинг и Бульвер) наречённый Уильямом Генри, – Стамбул – вонючий городишко. Стоит подуть ветру с моря, как содержимое канализации буквально плещется у ваших ног и запах, сами понимаете, ужасный.

Игнатъев понял, что особым тактом он не отличается, но в тонкостях Восточного вопроса сэр Генри Бульвер-Литтон разбирался превосходно; это стало ясно сразу же, как только они оба коснулись этой болезненной темы.

– Признаюсь, – откровенничал сэр Бульвер, – что мне, много лет уже пребывающему в качестве английского посланника при Порте Оттоманской, никак невозможно сделать так, чтобы тема внешней политики России не заставляла задуматься над тем, каковы нынешние претензии и будущие намерения вашей державы? – слово «вашей» он выделил голосом.

Николай Павлович честно ответил.

– Сознавая всю ответственность перед моим Отечеством, смею заверить вас, что ни государь император Александр II, ни российское правительство не могут мириться с большинством положений Парижского договора. Разумеется, и мне как полномочному министру, хотелось бы отстоять честь и достоинство России.

– Каким образом? – полюбопытствовал лорд Литтон, чьё лицо сразу стало скучным.

– Восстановлением права первенства на черноморских водах, возвращением части Бессарабии и прекращением стеснительной не для одной России, но и для султана коллективной опеки Турции великими державами. – Поскучневшее разом лицо лорда Литтона, заставило его сказать о самом важном.

– Статьёй одиннадцатой Парижского трактата, согласно которой «Чёрное море объявлено нейтральным», Россия лишилась права иметь черноморский военный флот. Это ужаснейшее положение!

– Для вас позорное?

– Позорное донельзя.

– Горчакову, разумеется, хотелось бы его исправить?

– Не только ему, но и мне, – прямо ответил Игнатъев, умалчивая о своих коренных разногласиях с министром иностранных дел России. Горчаков слишком верил в «европейский концерт», самовлюблённо полагая, что громкие заявления, остроумные фразы, и блестящие дипломатические ноты помогут добиться большего, нежели ставка на кропотливую, систематическую, внешне не всегда заметную работу, без которой немислимо основательное и плодотворное, по сути, достижение поставленной цели. Изучая военный потенциал Турции, Николай Павлович понял, что Россия тоже в срочнейшем порядке должна основывать свой броненосный флот, вопреки всем запретам, а потом уже искать соглашений непосредственно с Портой. Стоящую под парами, в полном боевом вооружении, готовую в любой момент выйти в открытое море эскадру ни один параграф не перечеркнёт. Политиков надо уметь ставить перед фактом! А соглашение с Турцией следовало готовить исподволь, избрав выжидательную тактику, ибо всегда могло возникнуть то или иное замешательство в делах Европы, которое бы способствовало нашему сближению и договору с Портой. Он ни на йоту не верил Европе и, в отличие от Горчакова, меньше всего уповал на значимую силу конференций, быстро уловив, что в Восточном вопросе все державы в какой-то мере враждебны России, и на этой почве легче всего будет возникнуть новой коалиции, направленной против неё. Учитывая всё это, ему больше всего хотелось избежать новых обязательств России перед другими странами, в особенности перед Англией и Францией.

– Вы полагаете, ваши мечтания осуществляются? – барственно расположившись в кресле, задался вопросом лорд Литтон, и в его голосе послышалась усмешка.

– Я не просто полагаю, я уверен, – твёрдо ответил Игнатъев.

Он знал, с кем и как разговаривать. В лице англичанина Николай Павлович видел давнего врага России, прочно пустившего корни своей резидентуры при Константинопольском дворе. Граф Брасье де Сен-Симон шепнул ему, что посол её величества королевы Англии сэр Генри Бульвер-Литтон пользуется исключительно большим влиянием на Абдул-Азиса и держит в своих руках все нити дворцовых интриг.

– Ну да, ну да, – пробормотал англичанин в конце их недолгой беседы, покидая кресло для прощального рукопожатия. – Ваша искренность и вера в справедливость лучше всяких слов говорят мне о том, что человечество стоит не в конце, а в начале своей истории.

Вечером студент посольства Кимон Аргиропуло привёз из города турецкую листовку.

Её текст был отпечатан по-французски. Несмотря на мелкий типографский шрифт, читался он с заметным интересом, прокламируя рассерженные фразы: «Турция – клоака беззакония! Алчность чиновников неимоверная, просто дичайшая! Народ измучён жуткими поборами. И всё оттого, что законы не действуют; действует один лишь произвол. Финансы подотчётны казнокрадам, и ни один из них не осуждён, не бит плетьюми и не отправлен на каторгу. В полиции сплошь деспоты, преступники, мерзавцы. Дикость на каждом шагу».

С этим утверждением не поспоришь: чем хуже бумага, на которой отпечатана листовка, тем больше ей веры.

Прокламация была рассчитана на европейцев, которые обычно знать не знали и не собирались знать, что несостоятельность, недобросовестность и дикость турецких правителей дошли до такой ужасающей степени, что Ибрагим-паша, комендант Стамбула, каждый вечер напивался до бесчувствия. И как не напиваться до бесчувствия, когда экономическое состояние Турции напоминало долговую яму, из которой ей не дано было выбраться. Ни Англия, ни Франция не дали бы ей этого сделать. Даже годовой бюджет Османской империи исчислялся во франках, чтобы Наполеон III и его финансовые олигархи не путались в подсчётах своих прибылей: на один вложенный в экономику Турции франк они получали не менее ста. Но желали, конечно же, большего.

Объявив Черное море нейтральным, запретив России иметь черноморский флот и арсеналы в портах, Англия и Франция поставили Россию в крайне унижительное положение,

мириться с которым Николай Павлович не собирался, как того и требовал Александр II, напутствуя Игнатъева перед его отъездом в Турцию.

– Решай на месте, что для нас сейчас важнее: дружба с Францией, как утверждает Горчаков, или дружба с Турцией, чтобы получить доступ в проливы.

Игнатъев ратовал за дружбу с Турцией.

В голове его стал созревать великий замысел, как сделать так, чтобы «сугра» – священная печать османов, имевшая сходство с оттиском ладони и заменявшая на правительственных бумагах Порты государственный герб, в центре которого арабской вязью было начертано имя: Абд-уль-Азиз, легла на будущий договор о добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Турцией.

Великий замысел, великий. Но он и обуза немалая, которая сопряжена с предельно строгим отношением к себе и к тем, от кого хоть в мало-мальской доле зависит осуществление столь трудного значительного дела.

Дипломатия не танец восточных монахов – добровольных мучеников ислама, и не игра в кости, столь любимая магометанами, она – умение найти своё в чужом. Она не терпит принцип: либо-либо. Либо успех, либо провал. Если помнить о том, что в конфликте намерений между ним, русским посланником при Константинопольском дворе и самим этим двором, между ним и остальными дипломатами, важную роль будет играть среда, он должен изучить её до мелочей. А коли так, – мысленно набрасывал план своих действий Николай Павлович, – я должен буду изучить характеры своих коллег, приятелей и недругов, турок, славян, иудеев, православных и католиков, безбожников и протестантов, чистых и нечистых, а прежде всего, своенравную натуру падишаха. Распознать в той мере, в какой это возможно будет сделать не кому-нибудь, а именно ему, защитнику российских интересов на Востоке. И какие бы подножки не ставила ему судьба или же смена политических событий, он должен будет действовать по принципу: «Взялся за гуж...». Иди и веруй. Верь, что это так и по-другому нельзя. И, может, в этом действенном посыле кроется смысл его служения Отечеству.

Глава XI

В Константинополе, как и во всяком азиатском городе, тротуаров нет. Центральная улица, на которой находится дворец русского посольства, «La grande rue de Pera», запружена народом и многочисленными экипажами, но, вместе с тем, найти извозчика не представляется возможным. Улица узкая, не более двух сажен в ширину, а кое-где и того меньше. Ехать можно только шагом, так как два встречных экипажа из-за выступов домов и всеобщей сутолоки не всегда могут разъехаться. Едва выйдешь из посольства, как тут же оказываешься в жуткой толкотне с её кромешным грохотом колёс, копыт, старых карет, новых ландо, модных колясок, крестьянских телег и скрипучих повозок, называемых арбами и мажарами. Звон бубенцов смешивается с гортанными криками разносчиков воды, продавцов фруктов и овощей, персидской халвы и армянского сыра, турецкого шербета и болгарского ягурта – той же нашей простокваши, только из овечьего молока. По утрам ещё разносят сливки для утреннего кофе. Ржание коней, мычание быков, гомон толпы то и дело заглушаются воплями «варда!» – «поберегись!». Это кричат извозчики, форейторы и кучера, погонщики ослов и худорёбрые хамалы – носильщики тяжестей, согнутые в три погибели под каким-нибудь грузным комодом с распадающимися дверцами или надсадно хрипящие под огромным роялем с торчащими вверх ножками. Взвалив свой груз на спины, плечи, головы, не видя ничего перед собой, кроме пяток впереди идущих, они движутся медленным шагом и привычно страшат друг друга. Пешеходам *volens nevolens*² приходится лавировать между животными и экипажами. Куда ни глянешь – пест-

² Волей-неволей (лат.).

рая толпа. Европейские наряды, дамские шляпы, мужские цилиндры; английские кепи, болгарские бараньи шапки; камилавки евреев и фески, фески, фески! Преимущественно фески: ярко-малиновые с чёрными кистями. Турки переняли их у греков, завоевав Византию. Много негров и арабов. У негров фески плоские, а головы арабов-бедуинов покрыты белыми платками, красиво собранными в складки шнурами из цветного шёлка. Толчея, словно в Париже – часто бывают заторы. Да и как им не быть, когда повсюду стоят столики и стулья, турки варят кофе, жарят на углях шашлыки; на деревянном масле (чтобы отбить запах) парят рыбу. Чад и смрад стоят такие, что не продохнуть, и тут же толкаются нищие, цыгане с тощими медведями, закованными в цепи, цирюльники, готовые обрить любого правоверного, пока он будет наслаждаться кофе и курить кальян. Женщин на улице мало, в основном мужчины. Редко где можно увидеть молодую турчанку в ярко-синем, жёлтом или сиреневом платье, да и то её лицо прикрыто «яшмаком» – полупрозрачной шёлковой вуалью. Турчанки ходят стайками в сопровождении мужчин или старух. В других кварталах ещё хуже. Пера – это, собственно, и есть Константинополь. Все остальные части города – Стамбул. Из окон нашего посольства он весь, как на ладони – вместе с бухтой Золотого Рога, чьи воды на закате, в самом деле, блещут золотом. В Стамбуле, который отделён от Перы глубоким обрывом, заросшим дебёлым бурьяном, травой и колючим кустарником, преимущественно тёрном и кизилом, расположены дворцы султана, там находится правительство, пышно именуемое Портой, адмиралтейство, сераскират – военное ведомство, артиллерийский арсенал, духовное училище и университет.

По поручению Александра II Игнатъев побывал на лошадином рынке: Ат-Мейдане. Ходил, присматривал коней для его царского завода. Ему глянулась одна лошадь, белая, в яблоках, с грациозной шеей: кровный «араб» – без подмеса. Голова небольшого размера, вогнутый профиль, маленькие уши и широкие, как у налима, ноздри. Плечи длинные, косые. И холка так дивно очерчена – глаз не отвести! Ноги твёрдые, с чётко отбитыми сухожилиями, а хвост мягкий, шелковистый, высоко посаженный. Николай Павлович взялся было уводить её – ан нет, не сторговались. Барышник заломил крутую цену. Разошлись в пустяках, в каких-нибудь двухстах франках. Драгоман Макеев в утешение сказал, что здешние торговцы – сброд подонков, ушат безумной жадности и очевидного обмана в состоянии зловонного брожения. Куда ни глянешь, в какой квартал ни сунешься, всюду вор на воре, разбойник на разбойнике; мерзкие выползки преступного подполья, греки и армяне, которые, чуть что, прибегают к помощи европейских посольств. Турецкие власти лишний раз боятся их укоротить, арестовать, и всё из-за того, что подлые людишки тотчас поднимают крик: «Христиан обижают! Невинных преследуют!» Да каких там «невинных»! Армяне воруют маленьких девочек и продают их арабам в пустыню, а греки развращают мальчиков. Между ними снуют иудеи: рыщут свой гешефт. Из игорных домов с барышом не уйдёшь – ограбят или перережут горло.

Вечером, после мучительных раздумий, Николай Павлович решил, что правда лучше лжи и, скрепя сердце, сообщил родителям о горе, посетившем их семью.

Глава XII

– Пушки и порох для турецкой армии изготавливают на государственных заводах во Фракии, – сказал военный атташе посольства полковник Виктор Антонович Франкини и посмотрел на Николая Павловича в ожидании новых вопросов. Это был серьёзный, быстроглазый офицер с безукоризненной армейской выправкой, способный быстро набросать с десятков вариантов какой-нибудь секретной операции, мгновенно оценить все плюсы и минусы каждого, остановиться на лучшем и не только озадачить им своих агентов, но ещё и рассказать, как им вести игру с контрразведкой противника. Выпускник Михайловского артиллерийского училища, прекрасно разбиравшийся в оружии и обладавший беспримечной по цепкости памятью, он пристально следил за вооружением турецкой армии и мог часами – взахлёб! – говорить о

новейших образцах военной техники. Задачи военной разведке ставились весьма серьёзные. И чем больше Николай Павлович узнавал своего атташе, тем с большим пиететом относился к нему, тем более, что Виктор Антонович Франкини был на двенадцать лет старше него и много чего испытал в своей жизни.

– Хорошая разведка у немецкого посла, но австрийцы окопались лучше. Ничуть не уступают своим английским и французским коллегам, – возвращаясь к теме их беседы, сообщил военный атташе.

– Где секреты, там и дипломаты, – проговорил Николай Павлович, просматривая поданный ему реестр иностранных соглядатаев, среди которых попадались уже знакомые ему фамилии. – Приходится лишь недоумевать и разводиться руками, печалуясь о том, что тайными агентами многих правительств являются сомнительные личности с крайне дурной репутацией.

– Люди всю свою сознательную жизнь, во все века, на протяжении огромной человеческой истории шпионили и ябедничали друг на друга. Доносили. Я как-то открыл Библию, – сказал полковник Франкини, – и поразился: оказывается, уже Иисус Навин имел разветвлённую, глубоко интегрированную в чужое общество и хорошо, должно быть, законспирированную сеть своих тайных агентов.

– Чтобы победить врага, надо его изучить, – в тон ему сказал Игнатъев. – Причём, изучить досконально. А не так, как это было у Наполеона: пришёл, увидел фигу с маслом вместо ожидаемой победы и еле унёс ноги.

Виктор Антонович расхохотался.

– Хорошо вы его припечатали.

– Это нам с вами наука. В том положении, в котором мы находимся, агентурная работа должна быть признана первостепенной.

Полковник Франкини уже четыре года добывал военные секреты для российского Генштаба и сообщил Игнатъеву, что в Пере, под покровительством французского посольства, турецкими армянами был составлен некий Протокол, который держался в величайшей тайне. Секретный меморандум подписали Дауд-паша и преосвященный Азариан, весьма влиятельные лица среди армян-католиков. О существовании этого документа, не подлежащего огласке, Игнатъев поведал и настоятель посольской церкви отец Антонин (Капустин), с которым у Николая Павловича сразу же установились доверительные отношения. Сызмала приученный не откладывать дела в долгий ящик, Игнатъев попросил своего атташе раздобыть секретные бумаги.

– Если это вас не затруднит, – предупредил он сразу, понимая всю степень загруженности Виктора Антоновича и сложность в исполнении своей нелёгкой просьбы.

Глава XIII

Наместник Аллаха на земле, правитель Османской империи солнцеликий падишах Абдул-Азис совсем не походил на человека, которому пристало сдерживать каждое движение души, следить за каждым своим словом и выверять не только всякий шаг, но и любой жест. Напротив. Он не скрывал своих желаний, не прятал обид и восторгов, разве что утаивал свои надежды, но это свойственно довольно многим людям, даже не обременённым царской властью. И вот теперь, заполучив в друзья Игнатъева, способного давать ему разумные советы ничуть не хуже великого везира и обладающего редким знанием людей, как будто видел их насквозь и запросто читал их мысли, Абдул-Азис почувствовал себя куда увереннее на турецком троне, и в какой-то мере благодуще. Власть монарха далась ему ни за что ни про что, как ни за что ни про что дались ему титул падишаха, несметные богатства Османской империи и миллионы подданных. И всё это он воспринимал с тем же самообожанием, с каким воспринимал крепость своего могучего сильного тела, взрывчатость характера и противоречивость ума.

Постоянно помня об этих качествах его натуры, Николай Павлович так умел строить беседу, так давал тот или иной совет, что оставлял у Абдул-Азиса впечатление, будто он сам до всего додумался, но, являясь человеком благородным, дал своему собеседнику возможность высказаться в полной мере по затронутой ими проблеме. Игнатъев видел, что доставляет падишаху истинное удовольствие, когда он, генерал, посланник Русского Царя, вооружает его убедительным знанием низкой стороны европейской политики, раскрывает перед ним её коварную сущность и тем самым делает его поистине неуязвимым, бесстрашным и несказанно благородным в отличие от всех тех, кто пытается бросить тень на блистательную личность владыки Османской империи, тайно возненавидев, как Всевышнего, так и его самого. Николаю Павловичу доносили, что Абдул-Азис не раз говорил великому везиру, как много полезного и неподдельно умного узнал он из бесед с русским послом, который ничуть не похож на профессора, но чьи похвальные уроки воспринимаются как поразительные лекции! Турецкий самодержец откровенно сожалел, что не имел возможности записывать их, и с жаром утверждал, что, окажись они записанными даже в наикратчайшем виде, никакие знаменитые трактаты о тайнах всемирной истории, извечно яркой и мрачной, чистой и грязной, кровавой и неуёмной в своей порочности, ни в коей мере не могли сравниться и соперничать с ними по глубине знаний.

Прошло не так уж много времени с момента первого знакомства Игнатъева с Абдул-Азисом в год его восшествия на турецкий престол, а они уже встречались с обоюдной радостью, без принуждения, общались без обид, хотя касались острых тем, и расставались всегда дружески, с сердечной теплотой. В одну из встреч Абдул-Азис затронул очень болезненную для него тему – тему недовольства христиан, живущих в управляемой им империи, и вообще славянства.

– Мне хотелось бы знать, господин русский посол, ваше искреннее мнение на этот счёт.

– С удовольствием отвечу, – заверил его Николай Павлович, и, не теряя градуса высоких размышлений, заговорил с привычной для него открытостью: – Расовая особенность славян, в отличие от германцев, заключается в стремлении каждого племени, каждой отрасли того же семейства, сохранить свою самостоятельность и разновидность, не подчиняясь друг другу.

– Но они могут объединяться для решения каких-то своих целей? – задал Абдул-Азис тревожащий его вопрос.

– Объединиться они могут, – ответил Игнатъев, которому вполне была понятна озабоченность султана: критские греки снова взяли за оружие, требуя поддержки от болгар и сербов. – Но очень медленным путём, при соблюдении ряда условий.

– Каковы эти условия? – спросил султан как человек, имеющий законные права казнить и миловать любого в своём царстве.

– К самому важному ряду условий, способствующих тесному слиянию славян, я бы отнёс прежде всего язык и унаследованную ими православную веру, но подчёркиваю, – сказал Николай Павлович, – объединиться они могут только в одной форме: оборонительного союза.

– Но сейчас-то им ничто не угрожает, – бородатое лицо султана посуровело. – Они живут в своей стране, справляют свадьбы и растят детей. И веру их никто не запрещает. – В его глазах стоял вопрос.

– Дамоклов меч мусульманской расправы висит над каждым христианином, – без тени укоризны в тоне ответил Игнатъев, смягчая голос так, чтобы султан не впал в экстаз рассерженной гордыни. – Этот меч висит с того самого дня, когда император Константин пал на поле битвы за родной ему город, за свою великую страну и православную цивилизацию.

– Я не люблю сухие споры, в которых много чепухи, но мало жизни, – величественно и зловеще произнёс Абдул-Азис. – Я хочу знать ответ на свой вопрос: почему славяне склонны к мятежам? Ведь у германцев, вы сказали, по-другому.

– Ваше величество, – самым почтительным образом заговорил Николай Павлович, обращаясь к нему с тем изумительным полупоклоном, в котором должны были прочитываться и глубочайшее уважение к царственному собеседнику, и высота его султанского величия, и

глубина его чувствительной натуры со всей её непостижимостью. – Я вряд ли отвечу на этот вопрос. Если у меня и есть какие-то мысли, я не рискну их сообщить, поскольку не уверен в них всецело; к тому же я боюсь наскучить вам своим косноязычием. Я не хочу присваивать себе ничьих суждений, поэтому я говорю о том, что чувствую и знаю лучше всех.

Абдул-Азису, видимо, понравился ответ, изложенный в такой галантной форме: глаза его заметно потеплели.

– Не обижайтесь на меня за мою резкость. Мне приятно беседовать с вами.

– О какой резкости вы говорите, ваше величество? – спросил Игнатъев изумлённо. – Кроме вашего сердечного внимания я, право, ничего не уловил. – Он даже чуточку развёл руками. – Что, разумеется, и радует меня, и поощряет. – После секундной паузы он вновь заговорил: – Главной помехой в объединении славян служат поляки с их католическим апломбом, западничеством и латинской ненавистью к православию. Если бы в Австрии не первенствовали мадьяры, а между славянами – поляки, тогда им легко было бы сговориться и сойтись с правительством страны, в которой численный перевес населения находится на стороне единокровных им народностей. Дуалистическая Австрия с входящей в её империю Венгрией, стремящаяся к Эгейскому морю, к созданию Восточной империи Габсбургов и порабощению балканских славян, – ваш извечный, прирождённый соперник и враг, с которым рано или поздно Турции придётся сразиться, причём, насмерть. Как из-за первенства на Востоке, так и ради единства и цельности Турции.

Абдул-Азис никак не ждал такого приговора.

– Выходит, я вооружаюсь?..

– Против Австро-Венгрии, – тотчас ответил на его вопрос Николай Павлович. – Ибо она ваш настоящий враг, а вовсе не Россия, мечтающая жить в добрососедстве, забыв вчерашние обиды. Всё, что нам надо, это свободный вход в проливы и Средиземное море, о чём нам с вами есть резон договориться. Игнатъев верно угадывал, в каком направлении может развиваться экспансионистская деятельность Австрии, опирающаяся на идеи католического славянства, враждебного православию, и, не собираясь спорить попусту, был твёрдо убеждён в том, что все исторические затруднения России во многом происходили от забвения этой истины, от пренебрежения этой основы здоровой русской политики. А если они происходили в прошлом, следовательно, могут произойти и в будущем.

Он знал, что творилось вокруг Турции и внутри неё самой и что вызывало беспокойство падишаха: глухо ярился Йемен, скалила зубы Персия, точили ножи четы в Македонии. А еще греки бузили на Крите, не говоря уже о том, что какие-то подлые силы натравливали курдов на армян, армян на турок, турок на арабов, сербов и болгар. Николай Павлович уловил клокочущее в душе Абдул-Азиса раздражение, подхлётнутое страстностью натуры, и, судя по тому огню, который полыхнул в его глазах, смог возвеличить честолюбие султана. Если он и прибегнул к скрытой помощи притворства, то в неуловимо-малой, почти гомеопатической дозе, отмерянной на самых точных и чутких весах, какие водятся лишь у аптекарей и дипломатов. И лести, что использовал он в своей речи, было ровно столько, чтобы она мигом испарилась, как исчезает в сенокос роса, едва взойдёт над горизонтом солнце. Лесть и притворство улетучились, а чувство дружества осталось, но осталось вовсе не таким, каким оно казалось раньше, а куда возвышенной и крепче, делая османского владыку и российского посла необходимыми друг другу.

Во время одной из таких бесед Абдул-Азис попросил рассказать ему о тайном ордене масонов.

– Я думал, – сказал он с явной обидой, – что французскому посланнику маркизу де Мустье удастся прояснить этот вопрос, но, к сожалению, его ответ мне показался лживым.

– А что лорд Литтон? – как бы вскользь полюбопытствовал Игнатъев.

Падишах пожал плечами.

– Посол её величества замялся, а потом сказал примерно так: «Существует только один путь к счастью, для этого следует перестать беспокоиться о вещах, которые не подчинены нашей воле».

– Это мысль Эпиктета, философа древнего мира, – не делая акцента на его греческих корнях, раздумчиво проговорил Николай Павлович и вспомнил китайскую мудрость: – Кто умеет сгибаться, как ива, тот и счастлив.

Абдул-Азис слегка прищурился.

– Это касается всех?

– За исключением монархов, – тоном, не допускающим противоречий, ответил Николай Павлович и принялся рассказывать Абдул-Азису всё, что он знал о масонах. Повествуя об истории их ордена, он вспомнил о бароне Редфильде, фронтон дома которого в Пере украшали масонские знаки: молоток и циркуль, и тут же подумал о его дальних родственниках, отирающихся возле российского министерства государственных имуществ и министерства финансов: «Везде они, куда ни глянь». – В третьем веке по Рождеству Христову, – заговорил он после секундной паузы, – масоны были изгнаны из Рима и перебрались в Англию, которая их приютила, дала им кров и пищу, чтобы в дальнейшем они стали палачами – убийцами державных королей. Спустя десять столетий они рассеялись по всей Европе, ложно утверждая, что «масонство видит во всех людях братьев, которым оно открывает свой храм, чтобы спасти их от предрассудков их родины», а на деле пропагандируя интернационализм, коммунизм и захват верховной власти в свою пользу. В семнадцатом веке возникли розенкрейцеры, поместившие на своё знамя крест и розу. Почти все они были алхимиками, пытавшимися добывать золото из олова. Их мастера отличались чисто иезуитским честолюбием и жутким деспотизмом: их стремление властвовать и подчинять себе людей носило зловещий характер. Они уже признавали не три, а тридцать три и даже девяносто степеней своей сложнейшей иерархии. Общий праздник всех масонов – Иванов день, совпадающий с летним солнцестоянием. Иллюминаты пошли дальше: они провозгласили уничтожение религии и собственности, призывая доверчивых граждан рушить церкви, всячески травить священников и безжалостно «грабить награбленное». Иными словами, разглагольствуя о нравственном совершенствовании человека, они толкают его на отрицание Божьих заповедей: не убий, не укради, не лжесвидетельствуй.

– Ислам сильнее всех этих учений! – взмахнув рукой, словно рубил кому-то голову, воскликнул падишах и тут же задался вопросом: – В России они есть?

– Больше, чем нужно, – отмечая про себя неистовую злобность падишаха и тотчас проникаясь сочувствием к нему, как к человеку, сидящему на троне огромной империи, сильному и внешне всемогущему, а на деле очень слабому, одержимому свирепыми страстями похлеще самого презренного раба, прикованного цепью к своей тачке, – прямо ответил Игнатъев. – Масонство в России известно со времён Петра I – он сам утвердил их ложу в Петербурге. Его друг Лефорт был мастером стула, Гордоном I, а Пётр значился за вторым номером. Имя ему было «надзиратель».

– Зачем же ему это было нужно? – выкатил глаза Абдул-Азис и стал похож на свой портрет, опубликованный в «Столичном вестнике» по случаю спуска на воду первого броненосца класса «Азизие», построенного по его заказу корабелями Марселя.

– По всей видимости, Пётр I поддался влиянию их общества, когда обучался в Голландии корабельному делу, где и вступил в их подпольную ложу, – предположил Николай Павлович. – Думаю, что юного Петра Алексеевича сбили с толку мартинисты, поддерживавшие патриархат – родовое начало власти, в отличие от иллюминатов, стоявших за уничтожение религии и собственности. И подтверждение этому есть: при погребении Петра I, умершего вдруг, скоропостижно, и не успевшего составить завещания, что, в общем-то, довольно странно, между прочими наградами за гробом несли и масонские знаки: молоток, который по преданию был у Мафусаила, кирку, треугольник и циркуль. Есть предположение, что Пётр I умер не от про-

студы, а от яда, подмешанного в конфеты, которые он ел перед своей неожиданной смертью. Очевидцы последних мгновений его жизни указывают на тот факт, что после того, как император съел конфеты, у него стали неметь руки и ногти посинели. Медики считают, что онемение рук и посинение ногтей характерны для отравления мышьяком.

Абдул-Азис слушал, буквально раскрыв рот.

– Отравителей казнили? – в его глазах и заданном вопросе отчётливо прочитывался страх за свою собственную жизнь, которую никакая торжественность и пышность дворцовых церемониалов не могла обезопасить в полной мере, заставляя трепетать и взрачивать в душе болезненно-острое, паническое чувство, именуемое манией преследования.

– В том-то и дело, что нет, – ответил Игнатъев, интуитивно угадывая, что творится в сердце падишаха всякий раз, когда он слышит о загадочных убийствах и смертях. – Подозрение пало на его фаворита Меншикова, замешанного в казнокрадстве, и на жену императора Екатерину, у которой были основания для мести. В своё время она была уличена в супружеской измене, и Пётр I казнил её любовника камер-юнкера Монса, а его заспиртованную голову велел поставить на ночной столик жены.

– Ему надо было прежде обезглавить или утопить неверную, – со знанием дела проговорил султан, высказав личное суждение. При этом взор его был подозрительно-свирепым, и не без основания. – Для монарха нет ничего глупее, чем всецело доверять женщинам – существам в высшей степени лживым и мстительным до умопомрачения.

– По-видимому, так оно и есть, – не считая нужным опровергать слова османского владыки, хотя он знал, как можно возразить на них, сказал Николай Павлович. – С того самого времени странные смерти наших правителей стали следовать одна за другой.

– Посланник королевы Англии сэра Бульвер говорил мне, что ни один из царей династии Романовых, кроме ныне здравствующего Александра II, не дожил до старости, – вряд ли думая об этом, как о большом зле, тем паче, что его нельзя уже было исправить, сообщил Абдул-Азис. При этом он поставил глаза так, словно и сам был способен ответить на любой вопрос, ничуть не обольщаясь своими познаниями.

– К сожалению, британец прав, – утвердительно сказал Игнатъев. – Пётр II смертельно простудился на параде, император Пётр III был задушен гвардейским ремнём. Но прежде того он был принят в масонское общество. Принят с распростёртыми объятиями: шутка ли, сам император попался в их сети! Собирались масоны в здании на Сенной площади, можно сказать, не таясь. Имея в своих планах убийство всех русских и европейских монархов по так называемому Большому заговору и методично исполняя его пункты, они вознамерились убить Екатерину II, чтобы привести российскую империю к полному её уничтожению. Анна Иоанновна скончалась на сорок восьмом году жизни – что-то съела за обедом. Анна Леопольдовна, которую спихнули с трона в пользу Елисаветы, ушла к праотцам, находясь в заточении. Сама Елисавета Петровна простилась с жизнью вследствие болезни, неизвестной медикам. У неё горлом пошла кровь. Императора Павла I, масона, великого магистра Мальтийского ордена, придушили ночью в спальне. 27 мая 1780 года князь Гагарин как великий мастер торжественно открыл российскую национальную ложу. Казалось бы, чего ещё? Опираясь на дворянскую гордыню, масоны набирали силу и, когда Наполеон I двинул на Россию свои несметные полчища, они были готовы праздновать свою победу, но Александр I, осознавший угрозу, исходящую от революционно настроенных лож, стал потихоньку изгонять их из России. Масоны сразу приуныли, стали прятаться в провинциях и скопом уезжать во Францию, свивая там «террористические» гнёзда и рубя головы её правителям.

– Но там сейчас правит Луи-Наполеон III, – встряхнул головой Абдул-Азис, и шёлковая кисть его жарко-малиновой фески испуганно метнулась ему за плечо. – Он очень серьёзный монарх и не допустит революции!

– Боюсь, что масонская Англия, тайно причастная к Большому заговору, сделает всё, чтоб скинуть его с трона, – со вздохом произнёс Николай Павлович. – Мне кажется, что всё идёт к тому.

А ещё он подумал, что Англия, добрая, старая Англия, которой впору было день и ночь проводить в Церкви, замаливая грехи молодости, вдруг ощутила себя одалиской в серале султана. Причём, не абы какой, а возымевшей полную власть над тем, кто мстителен, зверски свиреп и дьявольски самолюбив; кто несказанно радуется, видя, как жалко раболепствуют, трясутся и трепещут перед ним не только внешние враги, но и тайные, внутренние; не только бедные униженные христиане, мелкие сошки империи, но и знатные богатые паши вплоть до великого везира.

После одной из таких откровенных бесед Абдул-Азис признался Игнатъеву, что раньше, до своего знакомства с ним, он очень мало знал о конструкторах мировой политики, о её тайных дирижёрах и той зловещей музыке, что зачастую так и остаётся неслышанной.

Глава XIV

Игнатъев велел своему личному секретарю позвать к нему полковника Франкини и походил по кабинету – размял ноги. На минутку задержался у окна, полюбовался видом Золотого Рога и в далеко не первый раз вспомнил изречение, приписываемое пророку Муххамеду: «Благословен тот, кто завладеет Константинополем». Эта мысль чрезвычайно волновала Николая Павловича, как волновала она его отца и деда, генерала артиллерии, как действительно заботила Екатерину II. Всё время своего царствования её неотступно преследовала мысль о покорении Турции, особенно же под конец жизни, когда она велела своему тайновенчанному мужу Григорию Потёмкину готовить армию к походу на Константинополь. Она всегда мечтала о возрождении греков и славян, о чём знали все её друзья и недруги, точно так же, как все повара на царской кухне знали, что государыня императрица любит еду жирную, особенно говядину с солёными огурцами.

Мысль о Царьграде долгими годами – веками! – не просто таилась под спудом в сердце русского народа: она неизменно-требовательно просилась наружу, заявляя свои высокие права на существование. Много вопросов вставало перед государственными деятелями нашего Отечества, перед мужами «разума и силы», истинными патриотами, но из самых болезненных и, пожалуй, самых больших для русского ума вопросов был вопрос о Царьграде. С какой бы стороны не подходили к нему – будь это политическая, экономическая или стратегическая стороны, для Русского Царя и его православного воинства это вопрос пламенный, свечой горящий перед их внутренним взором. Как ни смотри на Стамбул, что ни говори о Константинополе, который был и остаётся мировым яблоком раздора, а тысячу лет назад именно из Царьграда пришёл к нам огонь Православия, без которого мы бы не узнали ни Божественной мудрости, ни христианской культуры, ни нашей национальной природы. Всё это наделяло Константинополь мистически-властной и притягательной силой, делая его центром народных мечтаний; каждый русский человек, крещённый во Христа, душой и сердцем помнил: Дух Святой сошёл на Русь с высот Царьграда! Живое воображение и сокровенная память народа поворачивали его голову туда, где над Босфором, над лагуной Золотого Рога сиял крест Святой Софии.

Игнатъев помнил множество преданий о судьбах Царьграда. Большинство из них связывало его будущее с Россией. Особенно воодушевляло Николая Павловича предсказание греческого императора Льва Мудрого о том, что придёт такое время, когда явится «русый народ» и овладеет Семихолмием – Царьградом. Об этом же гласила и надпись на гробнице царя Константина, сделанная по пророчеству святого Мефодия, и гласившая, что освобождение греческой столицы от османов «придёт из влажной стороны». Это пророчество было отнесено пол-

ностью к русскому царю и все надежды греков на возрождение Византии связывались теперь с ним.

«Собирание Русских земель во славу Божию – вот наша национальная идея», – отходя от окна и направляясь к своему столу, подумал Игнатъев, когда к нему в кабинет заглянул секретарь и доложил, что полковник Франкини находится в приёмной.

– Виктор Антонович, – позвал своего атташе Николай Павлович и остановился напротив двери. – Заходите.

Они обменялись рукопожатием, и Франкини, зная, по какому поводу пригласил его к себе посол, сразу приступил к докладу, развернув на столе карту Стамбула и проливов.

– После Крымской кампании армия султана была значительно улучшена. Опыт минувшей войны подсказал ряд существенных нововведений и реформ, хорошо сказавшихся на внутренней структуре войска. Появилось много инструкторов, преимущественно из английского и французского Генеральных штабов.

– Ими надо заняться вплотную.

– Стараемся, – Франкини улыбнулся. – Кое-кого уже взяли за жабры.

– Хорошо, – сказал Николай Павлович и спросил, много ли броненосцев строят Англия и Франция для Порты?

– Как минимум четыре. Два строит Англия, два – Франция. Но британцы обещают спустить на воду два монитора «Мендухия» и «Фетх-уль-Ислам», вооружённые двумя орудиями, для Дунайской флотилии.

– Интересно, сколько их будет всего? – взялся за спинку стула Николай Павлович и придвинул его к столу. – Мне донесли, что лорд Литтон лично заинтересован в этих военных заказах.

– Я полагаю, не меньше десятка, – ответил атташе, думая о том, что любой вражеский броненосец, только что спущенный на воду, для него, как для военного разведчика, это чрезвычайно важный объект, своеобразный бабушкин сундук, снизу доверху набитый секретными техническими новшествами. Просто на них нужно иметь особый нюх военного агента. Вот почему шифровальщики российского посольства ночи напролёт секретят спешные «корреспонденции» и донесения, отправляемые в Генеральный штаб. – Порты нас боится самым откровенным образом. Точно так же, как Британия боится Франции, – сказал Виктор Антонович.

Николай Павлович ответил несогласием.

– Англия никогда не боялась Франции, помешанной на мысли о своём величестве и погрязшей в болоте политических интриг, подспудно приводящих к революциям. А вот галлы боятся англосаксов и подгавкивают им с великой радостью. Их не спрашивают, а они сплываю. На протяжении многих столетий политика Франции в отношении России это такая, доложу я вам ядовитая гадина! – Он скривился, как от зубной боли. – Не приведи Господь! Одни её масонские поползновения вызывают чувство омерзения и, если хотите, опаски, требующей самых решительных действий против этой злючей твари.

– Я тоже так считаю, – решительно сказал Франкини. – Мне даже с моим коллегой, французским аташе пришлось крепко поспорить. Он убеждал меня, что гуманизм эпохи «возрождения», я это слово для себя беру в кавычки, дал возможность человеку ощутить себя всемогущим, и что homo sapiens теперь просто обязан чувствовать себя не кем иным, как Богом на земле. Вот до чего договорились суесловы, рассуждая о «новом времени и новом человеке».

– Хотя Христос нам говорит о временах последних, но никак не новых, – чутко заметил Игнатъев, хорошо знавший тексты всех четырёх Евангелий.

– Что касается меня, – продолжил свою мысль Виктор Антонович, – то я искренно считаю, что эти, так называемые, «просветители» человечества являются по сути дела самыми оголтелыми помрачителями общественного сознания. Истинными мракобесами. Они бес-

стыдно именуют себя носителями «новых» идей, ничуть не заботясь и зачастую ниспровергая своей надменной, безудержно-настырной деятельностью идеи вечные – идеи мира, добра и любви, смирения и покаяния, без которых нет спасения души. – Он спрятал губы под усы, собрался с мыслями и вновь заговорил – жёстко и прямо. – Можно и должно бороться за свободу нации, но бороться за права человека, это, по-моему, глупость или заведомая подлость. Разложение общества.

– Леонтьев тоже так считает, – сказал Николай Павлович и медленно прошёлся от стола к окну.

На улице шёл мокрый снег, лепился к стёклам, оседал на шляпах и зонтах прохожих. Вдоль Большой Перской улицы, отталкивая от себя синие сумерки, жёлтым светом загорались фонари. А в остальном всё было, как всегда. Катились экипажи, стучали копыта, с грохотом и скрипом протаскилась сельская арба. Принюхиваясь к мостовой и огибая лужи, куда-то понуро бежала дворняга.

Отходя от окна, он поинтересовался розысками франко-армянского Протокола.

– Мне удалось кое-что сделать, но этого пока что не достаточно, чтоб в сердце всколыхнулась радость, – ответил Франкини и смущённо улыбнулся. Похоже, он и сам был изумлён своей высокопарностью: ведь не коронованная особа стояла перед ним, не султан и не великий везир, а молодой русский посол, свой брат разведчик.

Игнатъев понимающе кивнул: в таком серьёзном деле, как поиск таинственного Протокола, излишняя спешка лишь навредит. Полковник Франкини, благодаря хорошему военному образованию, феноменальной памяти на лица и события, исключительной находчивости и виртуозной изобретательности в делах вербовки, выказывал себя отличным профессионалом. Он был способен выполнить труднейшее задание, не говоря уже о том, что прекрасно разбирался в самых сложных политических коллизиях и, приступая к новой операции, блестяще разрабатывал свои хитроумные планы. Про таких обычно говорят: «Из маслобойки гармонь сделает».

– Ладно, – сказал Николай Павлович, – с Протоколом дело не горит. Всё равно я сейчас другим занят: турецкое правительство затеяло переговоры по устройению новой Румынии, и я намерен участвовать в них самым решительным образом.

– На стороне султана? – догадался атташе, хорошо помнивший слова Игнатъева: «Без благосклонности Абдул-Азиса нам проливов не видать».

– Против Габсбургов и лондонского кабинета, – пошевелил локтями Николай Павлович, смешно изобразив ковёрного борца. – Мне предстоит серьёзнейшая схватка с лордом Литтоном.

Он вновь прошёлся от стола к окну, отметил, что один фонарь погас, а на других скопились шапки снега, и, возвращаясь назад, вновь заговорил о беспокоивших его переговорах. – Дебаты по Румынии предстоят жаркие! Намного жарче тех, которые мне уже приходилось вести с лордом Литтоном и в которых по сей день мне приходится участвовать.

– По критскому вопросу?

– Да.

– Я слышал, греков судят по Корану, – сочувственно сказал Франкини. – Православных греков по законам мусульман.

– В том-то и дело! – гневно воскликнул Игнатъев. – Это ли не попрание здравого смысла и гражданских прав турецких подданных? Я не намерен поощрять британцев в их двуличии и подстрекательстве! Захваченных с оружием в руках повстанцев турки заковывают в цепи и безжалостно казнят. Христианки в гаремах от страха трясутся. Здание и двор нашего консульства в Кандии забиты теми, кому некуда бежать.

– А что французы? – соболезнующим тоном полюбопытствовал Виктор Антонович.

– Уклонились от защиты христиан, – с презрением сказал Николай Павлович. – Заперли ворота консульства – и здрастье! Моя твоя не понимаю.

– Постучала сирота во царёвы ворота, – подхватил Виктор Антонович. – А в Кандии я был: городок старый. Улочки тесные, узкие. Случись резня – тут все и лягут.

– Ситуация скверная! – заключил Игнатъев. – Турок глуп и дик: от вида крови свирепеет. Но кто его всё время подбивает на резню? Британцы и французы! – Он значительно повысил голос, не вполне справляясь с возмущением. Карие глаза его сердито потемнели.

Видя его взвинченное состояние, Виктор Антонович решил увести разговор в сторону, в область старинных и загадочных преданий, тем или иным образом связанных с тайнами российского престола, которые можно нанизывать на нить любой беседы, словно бусы. – Николай Павлович, а вы слышали что-нибудь о легендарном «Отречении» Анны Петровны?

Глава XV

Игнатъев тотчас перестал ходить по кабинету и посмотрел на своего атташе с самым недоумённым видом: уж больно резкой была смена столь горячо обсуждаемой и близко к сердцу принятой им темы.

– Дочери Петра I? – отозвался Николай Павлович, так как ничуть не ожидал, что ему придётся без особенной на то охоты погружаться в мутный поток русской истории и, может статься, пускать пузыри, не находя быстрых и точных ответов.

– Да, – подтвердил свой вопрос атташе самым обычным, присущим ему тоном.

– Честно говоря, мало, – признался Игнатъев. – Что-то слышал краем уха, но не вникал в вопрос, другим был занят. А вам о нём что-то известно?

– Только то, что Анна Петровна отказалась в своём завещании от прав наследования русского престола за себя и за своё потомство.

– Это интригует, – присаживаясь к столу и показывая взглядом, чтобы полковник также расположился напротив него, хоть в кресле, хоть на стуле, раздумчиво сказал Николай Павлович.

– Конечно, интригует, – выбрав стул и усаживаясь на него, произнёс Франкини. – Одно дело отказаться от российского престола за себя, но лишать наследственного права своих прямых потомков, прежде всего, сына Петра-Ульриха...

– Будущего Петра III.

– Фёдоровича, – насмешливо сказал Виктор Антонович и с ожесточением потерял свой нос; потерял, чтоб не чихнуть, как это делают извозчики, сидя на козлах в ожидании клиента: – зычно, трубно, с оглушительным «апч-хи!»

Игнатъев улыбнулся. Он сам, чтоб не чихнуть, приподнимал кончик носа, наученный этому в детстве.

– А ведь у него, – оставив нос в покое и скривившись, будто от оскомины, проговорил Франкини, – у Петра III Фёдоровича рождается единственный сын Павел, у Павла – множество детей, первым из которых был горячо любимый, просто обожаемый Екатериной II внук Александр...

– И что же получается? – воззрился на него Игнатъев и, видя замешательство полковника, сам принялся вслух размышлять об исторической картине прошлого, о тех декорациях, в которых протекала политическая жизнь Европы и Нового Света. – Создав первое своё государство Северо-Американские Соединённые Штаты, масоны подготовили революцию во Франции, отомстив таким образом за разгромленный в XIV веке орден тамплиеров. Но кто в то время мог серьёзно помешать свержению монархии во Франции? Помешать могла Россия, занятая «греческим проектом» и решившая в лице Екатерины II и Потёмкина осуществить свою давнишнюю мечту по восстановлению Византийской империи и разделу Турции, Польши и Швеции, как наиболее опасных и воинственно настроенных соседей. Верховным масонам, конечно же, было известно о существовании «Отречения» цесаревны Анны, согласно кото-

рому ни Пётр III Фёдорович, ни великий князь Павел Петрович, ни его сын Александр Павлович не могли претендовать на императорский титул, так как не имели законных прав на державный престол. Про Екатерину II мы уже не говорим, зная, каким образом она оказалась с монаршим скипетром в руках на русском троне. Вот эти-то верховные масоны и отвлекли внимание российской самодержицы: сначала от всех её проектов, а затем от предреволюционной Франции вместе с её несчастным, давно приговорённым к смерти королём. Пытаясь напасть на след «Отречения» Анны и не зная, в чьих руках оно находится, масоны провоцируют попытку свержения Екатерины II в пользу её сына великого князя Павла Петровича, втайне надеясь, что нужная бумага выплывет на свет.

– Сама обнаружит себя, – живо подхватил полковник, слегка откинувшись на спинку стула.

– И выдаст с головой её хранителя, – произнёс Игнатъев, вполне допуская, что всю эту историю с отречением цесаревны Анны можно было и выдать и принять за злую шутку, нахальную выдумку, дабы внести сумятицу и в без того непрочные умы придворных чиновников, лизоблюдов и политических оборотней. Иногда ему казалось, что Петербург лишь для того и создан, чтобы плодить врагов и разрушителей России.

– Но этого, по-видимому, не произошло, – деликатно заметил Виктор Антонович, – и где находится сейчас текст «Отречения», в существовании которого я сильно сомневаюсь, вряд ли кто скажет. Вероятно, он хранится у одного из потомков того заговорщика, который до последнего момента ничем себя не выдал и по счастливой случайности смог избежать ареста.

Николай Павлович слегка наморщил лоб.

– Я думаю, – сказал он убеждённо, – что сами участники заговора затеяли переворот исключительно с той целью, чтобы, усадив Павла Петровича на трон, тотчас обнародовать текст «Отречения» и самым спешным образом созвать Земский собор.

– Зачем? – спросил его Франкини с озабоченным лицом. – Неужто для того, чтобы вместо немцев избрать настоящего русского царя?

– Скорее всего, так, – предположил Игнатъев. – Но сделать этого им не позволили. Верховные масоны, постоянно находясь в тени, но зная всё, что происходит во дворце, не преминули указать Екатерине II на странную возню подле её престола, и переворота не произошло.

– Но кто-то, видимо, остался на свободе, – предположил Виктор Антонович.

– Вот у него-то и находится секретный документ, – откликнулся Игнатъев, встретившись с вопрошающим взглядом своего атташе.

– А кто руководил переворотом? – поинтересовался Франкини.

Николай Павлович уверенно ответил.

– Переворотом 1762 года руководил несостоявшийся фаворит императрицы Екатерины II Никита Иванович Панин, бывший послом в Дании, затем в Стокгольме. В 1760 году ему было поручено воспитание великого князя Павла Петровича. Вот он-то, Панин, и был одним из главных участников заговора, в результате провала которого Екатерина II ещё прочнее уселась на троне. Всю жизнь потом Никита Иванович гадко пресмыкался перед государыней императрицей, пытался загладить оплошку, но так и остался до конца своих дней под надзором её конфиденентов.

– Получается, что власть в России... как бы... незаконна? – неуверенно сказал Виктор Антонович, которого ошеломила эта мысль. По крайности, смотрел он с явно изумлённым видом.

– Но это лишь в том случае, – сказал Николай Павлович, – если всплывёт «Отречение», которое никто не видел... или видел, да оно исчезло. Кто-то взял и припрятал его, как тоже самое проделали с армянским Протоколом, – предположил он, как бы про себя, привычно увлекаясь хитростной игрой воображения. По его сосредоточенно-мрачному взгляду было видно, что он перебирает в памяти все узелки, нити и цепочки, которые история российских само-

держцев успела навязать, запутать, разорвать, и вновь смотать в клубок таких противоречий, слухов и загадок, что вряд ли кто теперь распутает его. А если и возьмётся за столь безумно-тяжелый труд, то чертыхнётся про себя раз сто, а то и больше: «Бред он и есть бред – чушь на постном масле!» Но и помянув нечистого за столь нелёгким, кропотливым, доводящим до отчаяния делом, ибо стойкий запах лжи, курящийся над всякой правдой, смертоносен по своей природе, нет никаких прямых к тому посылок, что непонятное приобретёт черты чудесной, зримой, достоверной и давно искомой всеми ясности.

– И этот кто-то вскоре умер, – после возникшей в разговоре паузы сказал Виктор Антонович, не отрывая взгляда от своих начищенных штиблет. – Самым загадочным образом.

– Что вполне резонно, – откликнулся Игнатьев. – Вы же знаете, как часто погибают носители той или иной тайны. Кто-то свалится на рельсы и его раздавит паровоз, кто-то с лошади убьётся, непонятно по какой причине, а кого на охоте застрелят.

– Тогда смерть Елисаветы Петровны становится ещё загадочней! – воскликнул атташе, заменив в имени покойной императрицы букву «з» на «с», что в целом разумно и правильно, так как вполне соответствует библейской транскрипции этого имени.

– Или оправданнее, – сказал Николай Павлович, помня о неприязненном отношении императрицы к вороватым евреям и всё больше погружаясь в размышления, которые по ходу разговора окрашивались в мрачные тона, – если исходить из того, что согласно Большому заговору все российские монархи приговорены масонами к смерти.

– И Пётр III, и Павел I задушены, – в тон ему сказал Франкини.

– Вот видите, – сказал Игнатьев. – Заговорщики добились своего.

Екатерина II, полунищая немецкая принцесса, нагло занявшая место убитого мужа, всю жизнь не подпускала сына к трону, как будто не она его рожала, но и устранить Павла тоже не могла, ведь она царила над громаднейшей империей на правах матери наследника престола, хотя наследник настрогал уже кучу детей. Мало того, императрица озабоченно следила, как бы с ним чего не приключилось, как бы он не захворал и не преставился в расцвете сил, оставив её в горестном сиротстве.

– Ну да, ну да, – тотчас согласился с ним Виктор Антонович. – Ей ли, узурпаторше, было не знать, что стоит Павлу отдать Богу душу, как её самоё тотчас сковырнут и втопчут в землю.

– А сковырнут её и втопчут в землю те, кто держит, словно камень, у себя за пазухой, злосчастное, проклятое, неведомое до поры до времени и оттого ещё более страшное, смерти подобное «Отречение» цесаревны Анны, – решительно сказал Игнатьев, взглянув на атташе. – Словом, Екатерина II всю жизнь трясётся от страха, что её турнут под зад коленом, как только ненавистный документ всплывёт и получит огласку. Кто-то её надумил, что разыскать сию бумагу можно в столице Франции, где много чего есть у тамошних масонов, и она, ничуть не веря в их существование, из чисто суеверных побуждений – чем чёрт не шутит! – задумала поход в Париж, направив туда нашего славного Александра Васильевича, князя Суворова-Рымникского.

– И тут же – хлоп! – скапустилась, – скользнул правой рукой по левой Виктор Антонович. – Как говорится, без эксцессов.

– Идём дальше и задаёмся вопросом, – продолжил Николай Павлович, не собираясь останавливаться на подробностях внезапной смерти давно ушедшей в мир иной российской самодержицы, – кто был у неё в первых друзьях?

– Насколько мне известно, – с привычной для него насмешливой улыбкой ответил полковник Франкини, – первым другом Екатерины II отнюдь не постельного ранга был Иван Перфильевич Елагин, глава масонских лож и тонкий интриган.

– Но истинным другом императрицы был её тайный муж светлейший князь Потёмкин, дельный, смелый, гениально мудрый, истинный правитель матушки-России, но, к сожалению, не царственной своей супруги, одержимой блажью нескончаемых плотских соитий, – резко

добавил Игнатъев. – После того как заговорщики убили Павла I, его царственный сын император Александр I, человек благородных порывов, в конце концов, понял, что был лишь игрушкой, разменной монетой в чьих-то зловещих руках, и, осознав себя отцеубийцей, скоропостижно скончался. Но где? В Таганроге. Не правда ли, ещё одна загадочная смерть?

– Да он просто инсценировал её, – решительно сказал Виктор Антонович, словно был свидетелем и очевидцем означенной инсценировки. – А сам принял постриг и ушёл в затвор.

– Исчез в лесах Сибири?

– Да.

– Я слышал о старце Кузьмиче, – сказал Николай Павлович. – Но всё это, думаю, сказки. Народные инсинуации. А вот то, что после сдачи Севастополя и проигранной нами войны государь император Николай I, ярый противник заговоров и революций, ревностный блюститель монархического целомудрия Европы, принял лекарство с лошадиной дозой яда, соответствует его скорой кончине.

– Выходит, и его убили? – вновь упёрся взглядом в свои черные штилеты полковник Франкини. – Страшно заглядывать в прошлое.

– Но ещё безрадостнее – в будущее, – мрачно ответил Игнатъев. – Судя по тому, как оппозиционно по отношению к русской государственности звучит лондонский «Колокол» Герцена и подстрекательски-рьяно талдычит о грядущей революции в России князь Кропоткин, нашего государя императора – не приведи Господь! – тоже может ждать нечто ужасное и трудно представимое.

– Вы имеете в виду такую же, как у его предшественников, загадочную смерть?

– Не столько загадочную, сколько насильственную, – голосом полным тревоги ответил Николай Павлович, и на его подвижном лице появилось выражение тоски: – Уж больно неспокойно нынче в мире.

Закончив разговор с военным атташе и оставшись один, Игнатъев принялся расхаживать по кабинету, постепенно возвращаясь мыслями к своим дипломатическим заботам и недавнему разговору с английским послом лордом Литтоном, которого маркиз де Мустье заглазно именовал не иначе, как «английским бульдогом» за его вечно насупленный вид и брыластые щёки. Игнатъев и лорд Литтон, встретившись на новогоднем обеде в английском посольстве, вновь заговорили о намерениях России относительно Турции.

– Споры и разногласия среди моих константинопольских коллег, равно как и среди членов лондонского кабинета, возникают лишь при обсуждении двух неприятных моментов, – сказал Уильям Генри Литтон, барон Даллинг и Бульвер, – а именно: намерения России в самом скором времени объявить Порте войну и завладеть Константинополем, и её намерения завладеть ими когда-нибудь. В первое я совершенно не верю и нимало не сомневаюсь во втором.

Николай Павлович решительно отверг «первый момент».

– Ваше сиятельство, вы и ваше правительство должны быть бесспорно уверены в следующем: Россия более искренне, чем любая другая европейская держава, желает сохранения своих добрососедских отношений с Турцией. А что касается будущего столицы турецкой империи, то я могу лишь склонить голову перед вашей прозорливостью.

– Благодарю, коллега, за столь честный, краткий и лестный для меня ответ, – вежливо осклабился лорд Литтон. – Лично я не устаю внушать нашим политикам, что наименее цивилизованная из европейских стран Россия также является самой молодой из этих стран, и ощущение молодости придаёт ей уверенность в будущем и терпеливость к настоящему; в то время, как другие государства, зная, что в своих исторических судьбах они уже достигли вершины, держатся за настоящее, за status quo по совсем другой причине.

– Я глубоко тронут вашей мудрой оценкой молодой российской государственности и крайне признателен за столь оптимистичный взгляд на её исторический потенциал, – с искренним воодушевлением и самым почтительным образом выразил своё отношение к словам

английского посланника Игнатъев. – Я хорошо помню ваше восхитительное выражение, сказанное в отношении России нашему французскому коллеге.

– Какое? – полюбопытствовал лорд Литтон.

– Надежда в одном случае даёт то же производное, что страх в другом.

– А, да! – польщённо воскликнул английский посланник, расплываясь в любезной улыбке. – Это моя фраза.

– Она отточена, как лезвие клинка! – с жаром ответил Николай Павлович, хорошо помня о том, что сэр Генри Бульвер-Литтон считает себя литератором и ценит ясность мысли, заострённую до блеска.

Польщённый его похвалой англичанин расплылся в улыбке.

– Говорить с вами одно удовольствие, и удовольствие это, поверьте, было бы гораздо большим, и бесспорно искренним, если бы не скрытые шипы в букете наших политических пристрастий.

Игнатъев отвечал ему с дипломатической любезностью.

– Ваше достоинство посла и несомненный талант беллетриста просто обязывают хоть в какой-то мере соответствовать вам в разговоре, хотя в споре о проливах и естественном праве России беспрепятственно пользоваться ими в своих интересах, я никогда не соглашусь на роль бесстрастного статиста или же актёра, произносящего единственную фразу: «Кушать подано».

Сэр Генри Бульвер-Литтон удивлённо вскинул бровь.

– Но есть ведь и вторые роли в пьесе! Зачем же так драматизировать, – он сделал лёгкий жест рукой, как бы роняя что-то на пол. – Актёр должен уметь поднять себя, поднять любую свою роль на высочайший уровень искусства, пусть даже эта роль ему ужасно неприятна. Режиссура, постановка сцены, особенно в театре политическом, – сказал он с вкрадчиво-усмешливой гримасой, – доверяется не сразу и не всем. Об этом должно помнить и не забывать.

Николай Павлович понял, к чему клонит англичанин. С появлением нового русского посла в Константинополе резко нарушилось дипломатическое status quo, и это раздражало многих. Чрезвычайно. Всякая «случайность», исходившая от нового российского посла в решении румынского и критского вопросов, тем более, «случайность» полемического толка, заставляла его западных коллег серьёзно рисковать утратой своего положения при дворе Абдул-Азиса. Наиболее болезненно воспринимал угрозу потери влияния на падишаха именно сэр Генри Бульвер-Литтон, всячески пытавшийся теперь это влияние усилить. Игнатъев хорошо был информирован о том, что говорил о нём посол её величества королевы Виктории, и почти слово в слово помнил все его беседы, как с великим везиром Аали-пашой, так и с самим султаном.

– Если бы у России не было ни намерений, ни желаний расширить дальше свою империю, мне было бы очень трудно себе представить, как бы она могла действовать иначе, чем она действует? – говорил сэр Бульвер владыке османов. – Вы только посмотрите, как Россия ревностно относится к своему влиянию в славянских княжествах, если она говорит тамошним князьям: «Посылайте ваших детей учиться в Санкт-Петербург!» А что делается на Кавказе? Разве её политика в этом регионе доказывает, что она вполне довольна своими нынешними границами, если мы видим, какие огромные расходы несёт она для укрепления своих позиций в Черкессии, Чечне и Дагестане?

– Всё в руках Аллаха! – отвечал Абдул-Азис. А что он мог ещё сказать? Война на Кавказе закончилась в пользу России. В Турцию бежали только те, кто дня не мог прожить без перестрелок и разбоя. Они с радостью пополняли ряды шпионов и, проникая в южные, центральные и закаспийские губернии русской империи, пополняли число диверсантов и торговцев «живым товаром», становясь агентами для вербовки гаремных наложниц. Многие из них охотно становились палачами, беспощадными карателями, свирепо расправляясь с теми, на кого им укажет

султан. Бациллы мстительной и неуёмной злобы превращали их в вечных убийц. Такие люди редко задумываются над своими поступками, а если и задумываются, то над поступками своих врагов, чьи действия им надо пересилить.

– Бисмилляхи, р-рохмани, рахим! – восклицал Абдул-Азис, обращаясь к Всевышнему – милостивому, милосердному, слушая напористую речь английского посла. Взгляд его был настороженным, словно он постоянно сомневался в своём собеседнике, как человек, выискивающий в людях лишь дурное, мучаясь своими тайными страстями. А страстей у Абдул-Азиса преизбыток: их у него, словно вшей у цыгана – девать некуда.

Истинный правитель должен знать и видеть всё, но его никто не должен знать, никто не должен видеть – вот идеал восточного владыки. А он – увы! – любил людские взоры, обращённые к нему в дни мусульманских празднеств и торжеств, ревностно следя за тем, чтобы любой устроенный им званый вечер прошёл с неимоверной пышностью и блеском. Тщеславен был до умопомрачения.

Глава XVI

После смерти своего царственного брата Абдул-Азис в торжественном атти-шерифе обещал народу продолжение реформ, начатых его предшественником. Он освободил из тюрем политических преступников, ещё вчера грозивших перерезать всех «собак», обгадивших святой престол Османов, вдвое увеличил тиражи газет, печатавших статьи о благотворности его нововведений, и стал приветствовать развитие наук. Стремясь придать Стамбулу европейский лоск, воспринимаемый им как дамские перчатки, зонтики и туфли на высоком каблуке, он высочайше позволил книжным магазинам торговать французскими романами, в которых женщины, изведавшие силу вожделения, сжигаемые похотью во всякую минуту своей жизни, сводили пламенных любовников с ума, ввергали юношей и дряхлых старцев в грех, в убийственную круговерть супружеских измен, бесстыдных и разнузданных соитий, в бессмыслицу телесных содроганий, светской лжи и гнусных преступлений, чем несомненно оскорбляли чувства правоверных мусульман, приученных к тому, что женщина служит мужчине, а никак не мужчина – её прихотям, и это так же верно, как и то, что молитва езан читается на восходе, эйлек в полдень, а на закате – акшам.

Желая соответствовать образу просвещённого монарха, истинного европейца, Абдул-Азис обещал распустить свой гарем, но всенародные обещания для того и даются, чтобы их выполнения ждали, а вовсе не ради их скорейшего осуществления.

Немногочисленные реформы, проводимые им с помощью великого везира Аали-паши, обуславливались прежде всего нехваткой денег и никак не затрагивали интересов простых граждан. Народ платил двойные подати, нёс всевозможные повинности, а чиновники взятками и поборами многократно увеличивали положенное им от казны содержание. Губернаторы грабили налево и направо, опустошая кошельки несчастных обывателей и закрома империи. Провинция голодала, в столице шёл разгул. Набрав денег под проценты, поскольку в казне было пусто, Абдул-Азис воскликнул «Отныне я стал царствовать!» и тут же пустился в такие траты, в такой дикий разгул, что его царским пирам и попойкам счёт уже никто не вёл, только кредиторы довольно потирали руки в предвкушении гигантских барышей. Закрутилась вакханалия безумств и мусульманской деспотии: падишах был большой охотник до увеселений. Он завёл себе огромный женский хор, назвав его «дамской капеллой», уродцев, карликов, шутов. С детства увлекаясь петушиными боями, награждал победителей учреждёнными для этой цели орденами. Делами государства он почти не занимался. Страной правили любимчики, которые сменялись им без всяких объяснений. Турки угрюмо шутили: «Нами правит не султан, а его гарем». А гарем это две непримиримых, вечно враждующих между собой партии: партии белых евнухов и партии чёрных. Гарем это ложь, безделье, скука, пресыщенность и жажда

удовольствий, скарденность и мотовство, зависть и обыденная мстительность, интриги, ссоры, повторение того, что было сто, и триста лет назад, вплоть до потопа и конца света. А конец мира он ведь близок, об этом вам любой молла в мечети скажет, любой старик в кофейне подтвердит.

Все потекут на Страшный суд. Но турецкая знать, со временем забывшая о том, что «всё полетит вверх тормашками», азартно возводила новые дворцы, беря пример со своего владыки, и паши, осыпанные золотом английских и французских банков, возвращать которое они не собирались, пополняли, глядя на него, свои огромные гаремы. Их сыновья рвались в Париж, в столицу шумного разврата, где прожигали свою жизнь в неимоверно-бурных развлечениях. Куртизанки во Франции были всегда, но моду на них среди французской знати и высшего сословия Европы ввёл король Луи Наполеон III, сравнивший женщину с послеобеденной сигарой. «Дамы с камелиями» особенно не обижались, разве что ещё наглее играли на чувствах обласканных ими безумцев, из числа аристократов и дельцов, распоряжаясь их деньгами и фамильным достоянием. Занятые у Европы капиталы не давали османам покоя. Да и о каком покое могла идти речь, если после Крымской войны, до начала которой у Порты не было государственного долга, Турция попала в число великих стран и получила право представительства на европейских конгрессах. Новое положение открыло ей широкий кредит на биржах союзников по войне с Россией – в Лондоне, Париже, Риме. Война выгребла из турецкой казны всё до последней копейки. Тогда правительство султана впервые воспользовалось иностранным капиталом. Первый государственный заём был сделан в Англии. Тамошние толстосумы, сойдясь нос к носу в главной синагоге, а затем в роскошном лондонском особняке барона Ротшильда, ссудили Порте тридцать миллионов фунтов стерлингов; затем ассигновали более значительные займы – один за другим. Часть «излишек», скрепя сердце, падишах пустил на армию и флот. Положение великой державы обязывало. А в остальном он был обычным восточным монархом, любителем забав и женских прелестей, царствовавший от души и не замечавший, как пьянство превращало его в ипохондрика.

Глава XVII

Кроме дипломатических споров о румынских княжествах, в которых Игнатъев принимал самое горячее участие, на повестке дня снова встал Болгарский церковный вопрос. Несмотря на то, что приёмным днём российского посла считался четверг, греческие иерархи ездили к Игнатъеву, можно сказать, ежедневно. Сплетничали, кляузничали, поливали грязью болгарский народ и его церковь, подчинённую Константинопольскому патриарху Григорию VI. Надели они ему хуже горькой редьки. Благо бы пастыри церковные и депутаты болгарские ходили к нему одному, но они ходили в другие посольства, выметали сор из избы, перебивали дорогу друг другу и откровенно являли срам и позор Православия перед иноверцами и мусульманами. Николай Павлович не один раз бывал в греческой церкви на службе, и ему показалось, что внутренний порядок церковный, даже догматы, отдаёт магометанством. Особенно их песнопение.

Быстро освоившись при константинопольском дворе, он всем сердцем принял нужды и чаяния болгарского народа. Уж ему-то хорошо было известно, как турки опасались возрождения Болгарского царства, с которым впоследствии они вынуждены будут считаться. Оттоманская Порта боялась самого имени «Болгария» и упорно не желала давать этой области политического суверенитета, не говоря уже о границах. К тому же османская власть опасалась, что независимая болгарская церковь станет серьёзным орудием в руках России. Этим и объясняется покровительство, которое Турция совместно с Францией и Австрией оказывала малочисленной группе болгар, стоявших за папскую унию. Все они: и греки, и турки, и сочувствующие католики европейских государств надеялись, что, как только болгары перейдут в лоно

униатской церкви с её латинским богослужением, сочувствие к ним со стороны православной России постепенно сойдёт на нет и навсегда заглохнет. Да и влиянию самой России на Востоке, с отпадением огромной части здешних христиан от Православия, будет нанесён чувствительный удар. Но тут болгары проявили истинную сущность жизнестойкого народа, не изменив священной вере отцов. Разгоревшаяся борьба с унией, с греко-латинской, фанариотской, чуждо-тиранической церковной иерархией начала приобретать общенародный характер. А из Фанара, греческого предместья Стамбула, привычно являлись «местечковые пастыри», «духовные наставники болгар» и покупали свои епископские места у Порты, высокопоставленные чиновники которой, лишённые совести, прекрасно понимали свою выгоду: как материальную, так и политическую. От «новоиспечённого епископа» не требовалось ни образования, ни благочестия. Епископом становился тот, кто принадлежал к фанариотской общине и кто готов был раскошелиться. Купив епископское место, фанариот открыто продавал приходы своей болгарской епархии любому проходимцу. При этом какой-нибудь богатый грек, разжившийся звонкой монетой и пожелавший стать попом, мог купить десять, двадцать, тридцать – сколько душенька захочет! – церковных приходов и тотчас начать перепродавать их по своей, во много раз завышенной цене. Спекуляция на вере и народных чувствах приобрела чудовищные формы. Жадная, корыстолюбивая инородческая церковная братия наживалась за счёт совершенно бесправных болгар. Держать их в чёрном теле и нищете – вот в чём заключалась нехитрая мудрость «местечковых» пастырей.

Не находя сочувствия в своих иерархиях, болгарский народ начал по-своему сопротивляться чужой церкви: дети оставались некрещёнными, свадьбы справлялись без священников, умершие погребались без напутствия.

Лучше ком земли на крышку гроба из рук сородича, чем слова о благодати из уст нечестивца.

Народ выходил из повиновения.

Стараясь потушить вспыхнувшее пламя недовольства, всевозможные церкви и партии стали предлагать свои проекты примирения. Болгары их не принимали. Камнем преткновения оставался вопрос о разделении епархий: болгарской и греческой. Ни искренние старания патриарха Софрония, ни миролюбиво настроенная партия «умеренных» болгар, ни деятельное вмешательство Игнатъева, желаемых результатов не дали. Оставалось крайнее средство, давно уже предвиденное Николаем Павловичем: решительное вмешательство Порты и рассечение ею этого узла противоречий. Но великий везир Аали-паша сразу становился глухим и немым, как только речь заходила о самостоятельности болгарской церкви.

Глава XVIII

Вечером российское посольство устраивало раут в честь христианской знати, ожидая приезда не менее трёхсот гостей.

Изобилие еды и горячительных напитков, начищенный воском паркет, ослепительно сияющая люстра, отражающаяся в нём, галантные швейцары, прислуга, блистательно составленный оркестр, привезённый специально из Одессы, парадные лодки с гребцами и посольский паровой катер-стационар – всё это было в полном распоряжении и пользовании дорогих гостей извечно хлебосольной и неизбежно радушной русской дипломатической миссии.

Ни посол, ни его помощники, своих мест в застолье не имели. По старинному русскому обычаю, они гостеприимно обходили приглашённых, раскланивались, улыбались, справлялись о здоровье. Рассыпали комплименты, рассказывали анекдоты, шушукались (не без того), стоя в сторонке с нужными людьми, сердечно пожимали руки. Выслушивали сплетни, припадали к дамским ручкам, безобидно флиртовали, дабы соблюсти благопристойность и не навлечь на себя чью-либо злобу. Следили за новыми лицами, знакомились, приносили уверения в

своём глубоком уважении, обещали помогать и делать всё возможное для укрепления взаимной дружбы. Восхищались чужими заслугами, сочувствовали бедственному положению, с радостью хватаясь за любой предлог, чтобы уклониться от беседы «со слезой», безошибочно определяли тех, чьи сердца пылали честолюбием, а более того – страстью к наживе; вручали им свои визитки, обговаривали встречи (зачастую тайные), с величайшей признательностью принимали благодарность – иногда в виде пустяшного презента, и вновь рассыпались в любезностях, проявляя выучку и ловкость великосветских щёголей.

Ещё с давних дней своего пребывания в Хиве и Бухаре Игнатъев прекрасно усвоил, что на Востоке, будь то Азия или Китай, внешней стороне любого действия и церемониала придаётся неизмеримо большое значение, и умел произвести незабываемое впечатление. Тем более, если он вознамерился стать в Турции вторым человеком после падишаха, всеильным российским вельможей. Уже кое-кто из турецких министров именовал его не иначе, как Игнатпашой, благо, что личные секретари высокопоставленных чиновников набирались из глухонемых, дабы те не имели возможности разглашать их секреты. И это не могло не радовать. Игнатъев оказался вполне подготовленным к тому, чтобы говорить с султаном на любую тему, раскрывая её в узком, сугубо турецком аспекте. В то же время он способен был анализировать происходящие в Турции процессы с той бесподобной прозорливостью, которая проливала свет на будущность как самой Порты, так и подвластных ей в течение пяти столетий арабских, балканских и кавказских народов, вплоть до сопредельных.

– Через сто лет, – говорил он султану, – арабский мир будет в самом центре политических событий.

– Жаль, что мы не доживём до этих лет, – с усмешкой отвечал Абдул-Азис, поражаясь неизъяснимой по своей глубине интуиции русского посла. Он неизменно восторгался тем, что у Игнатъева было в достатке смелости отвечать на острые вопросы, жить и поступать так, как он считал нужным, исходя из чувства долга и любви к ближним. Но больше всего Абдул-Азиса изумляла его способность говорить без тени раздражения, когда, казалось бы, надо кричать, сверкать глазами и скандалить. Игнатъев обладал очень приятным, прямо-таки завораживающего тембра, голосом, которому, возможно, в сочетании с редким умом и потрясающей благожелательностью, он и был обязан своим редким личным обаянием.

А зал торжественных собраний уже наполнился людьми.

Кого здесь только не было! Греческие олигархи и богатые армяне, болгары, сербы, знатные румыны, обиженные князем Кузой. Их жёны и великовозрастные дочери – на выданье. Купцы и судьи, знаменитые врачи и никому не ведомые виршеплёты, православные издатели, аптекари, мануфактурщики; знаменитые адвокаты, предприимчивые коммерсанты, пронырливые журналисты; владельцы хлебных лавок и фешенебельных яхт, роскошных ресторанов и подвальных «забегаловок» – рюмочных, коньячных, пирожковых. Все рядышком, все в тесноте, все вперемешку. Натуры страстные, настроенные революционно, и, напротив, мужи мудрые с холодной ясной головой и чистой совестью; горластые либералы и проверенные в деле консерваторы, жадные и щедрые, левые и правые, и не поймёшь какие. Все как бы и похожи меж собою, и все разные. Но, в общем, атмосфера была праздничной. Весёлой.

Лично проследив за сервировкой столов и наказав секретарям посольства вплотную заняться гостями, центральными фигурами среди которых был Вселенский Патриарх Григорий VI и католикос всех армян Матеос I, милостиво беседовавший с преосвященным Азарианом, тем самым, который подписал секретный Протокол с французами, Игнатъев посоветовал полковнику Франкини привлекать к своей работе Константина Николаевича Леонтьева.

– Мало того, что он на редкость смелый человек, обладающий недюжинным умом, он, ко всему прочему, блистательно умеет находить общий язык со всеми – от европейских дипломатов и турецких чиновников до польских революционных эмигрантов и албанских разбойников.

– Головорезов мне как раз и не хватает, – усмехнулся полковник Франкини, маскируя свою озабоченность очередным секретным делом намеренно шутливой интонацией.

А шептались они о шифровке, пришедшей из Генштаба: нужно было срочно раздобыть новый секретный код броненосного флота султана.

Перед раутом Игнатъев дал задание Михаилу Константиновичу Ону разговорить Азариана и попытаться уяснить, хотя бы в самых общих и расплывчатых чертах, содержание этого таинственного документа.

Всякий разведчик знает: чтобы увидеть луну, не обязательно смотреть на небо.

Ливанским губернатором Дауд-пашой должна была заняться багдадская резидентура.

Поприветствовав гостей и вкратце поделившись с ними своей дипломатической программой, направленной на укрепление Православия и единение славян, Николай Павлович многозначительно сказал:

– С «принципами» и «приличиями» надо поступать столь же вольно, как это проделывает ветер, сметая пыль с дороги.

После этих слов публика пришла в неописуемый восторг. Особенно рукоплескали дамы.

– Браво!

В зале послышался гул одобрения.

Патриарх перекрестился.

Прибыв в Турцию и зная о церковном расколе, произошедшем между болгарскими и греческими пять лет назад, Игнатъев поставил себе ни за что не связываться с духовенством, но вместе с последней почтой он получил прямое указание государя императора добиваться от греческой патриархии уступок для болгар.

Ради этих уступок, во многом, и был устроен раут.

Дождавшись, когда всеятейший Григорий VI соблаговолит взглянуть на него, Игнатъев затронул тему критского восстания, столь волновавшего всех греков.

– На стороне повстанцев молодость нации, а молодость это сила, с которой нельзя не считаться. Рано или поздно она заставит оказывать ей честь, хотя турецким властям придётся ещё не раз применять карательные силы. Но разве устрашат смелых людей репрессии? Когда народ испытывает жестокие мучения, разве голова его будет забита мыслями об опасностях нашего времени?

– Нет! – выкрикнули сразу двое греков, по виду студентов. – Мы думаем лишь о свободе!

Николай Павлович тут же кивнул им, и они с надеждой устремили на него свои восторженно-неистовые взоры. Ему передалась их пылкость, и он заговорил ещё напористей.

– Я не перестаю твердить его величеству Абдул-Азису, что слабость Порты состоит в колоссальном и взрывоопасном разрыве, как социальном, так и политическом, между укоренёнными народами случайно возникшей Османской империи, о чём вы все прекрасно знаете. На сокращение этих разрывов, устранение противоречий, нужно много денег, времени и сил, не говоря уже о том, что Англия и венский кабинет делают всё, чтобы их планы по раскачке и распаду Турции сбылись как можно раньше. Мне могут возразить: «Но это же прекрасно! Это то, что всех устроит!» А я скажу, что нет. Обломки рухнувшей империи османов погребут под собой надежды балканских славян на истинный и прочный суверенитет. Вы можете спросить: «Но почему?» Да потому, скажу я вам, что тотчас рухнут все экономические связи, и станут рваться ещё дальше. Процесс распада тем и страшен, что неостановим. Особенно в том случае, когда плоть государственного организма начинает отделяться от костей. Происходит гниение заживо. Казалось бы, чего бояться, ведь возникнут автономии? Возникнут! Но надолго ли? Мало того, что великие державы тотчас «прикарманят» их непрочные, наспех сформированные коалиционные правительства, они ещё и стравливать начнут – одних славян с другими, дробить народности и расчленять их княжества. Они самым наглым и циничным образом начнут сживать славян со света. В междоусобных войнах православных христиан – вы только вду-

майтесь в эти слова! – погибнет людей больше, чем за всю историю османской деспотии. – Игнатъев и сам не понимал, откуда у него берутся эти вещие слова. Говорил, говорил и не переставал удивляться собственному красноречию. – Или вы не знаете, что говорят на этот счёт политики Европы? «Мы не позволим сербам оставаться сербами, а болгарам – болгарами; мы позволим сербам быть австрийцами, а болгарам – немцами».

– А что же тогда делать? – раздался чей-то робкий женский голос, исполненный душевной боли.

– Объединяться! – пылко воскликнул Игнатъев. – Спасение славян в единомыслии с Россией. Иначе все усилия по автономизации пойдут коту под хвост! – Он даже чуточку возвысил голос, точно вынужден был сделать строгий выговор. – Об этом мы ещё поговорим, для этого у нас есть все условия, – Николай Павлович повёл глазами в сторону богато сервированных столов с их аппетитно пахнущим съестным великолепием. Столы сверкали дивным искромётным хрусталём, блистали белым серебром, приманчиво-ярчайшей позолотой и зримо отражались в двух огромных зеркалах, не менее трёх метров высотой каждое, как бы показывая тем самым, что русский посол знает, на каком языке привыкли разговаривать в Константинополе. – А пока, – сказал Николай Павлович, заканчивая свою речь и поглядывая на Константинопольского патриарха, который частенько кивал головой, явно позабыв о том, что ему надлежит быть величественным, – я склоняю голову перед греческими патриотами и неколебимо верю, что их жертвенная преданность христианской Византии не сгорит сухой травой в огне божественных явлений!

В ответ раздался гром аплодисментов, обрадовавший не только русского посла как изощрённого оратора, но и всех тех, кто не спускал с него своих умильных взоров, хотя... ничто так быстро не улечивается из человеческой памяти, как длинные спичи на официальных обедах.

Игнатъев так расположил к себе своих гостей во главе с патриархом, что единодушно был признан «настоящим» лицом императора Александра II в Константинополе.

– За единый Славянский союз! – предложил тост Игнатъев, и дружный возглас одобрения тотчас смешался со звоном хрустальных бокалов.

Глава XIX

Основную часть своей агентурной работы, запланированной на сегодняшний день, второй секретарь посольства Михаил Александрович Хитрово уже выполнил. Ему удалось завязать отношения со старшим инспектором первой городской гимназии, греком Кивилиди, двоюродный брат которого, Эдвард Хартли, занимал пост внутреннего аудитора известной фирмы «Vickers Shipbuilding and Engineering» в городе Барроу-Фернес, успешно специализировавшейся на постройке военных кораблей, как для королевского военно-морского флота, так и для ВМС других государств. У этой фирмы была мощная судостроительная база, огромный штат высококлассных инженеров и рабочих. Корабли, построенные ими, оснащались превосходными новейшими системами оружия. Аудитор – человек-счётчик. Ревизор. Ему приходится много считать, сверять, анализировать и выявлять уйму ошибок в двойной, а то и тройной бухгалтерии фирмы. А его свояк, некий Оскар Мейланд, исполнял обязанности главного кассира в военно-морском ведомстве Англии. Михаил Александрович оттого и весел был сегодня, что через этого Мейланда он собирался добыть списки всех членов министерства и всего командного состава королевского флота, включая сигнальных матросов и офицеров-секретчиков. Тот было бы неплохо! Просто здорово. К тому же он уже нащупал след таинственного Протокола, встретившись по поручению полковника Франкини с советником персидского посольства Мельком-ханом. Но след ещё не Протокол, не армянский меморандум, припрятанный по наущению французов. Так что говорить о нём пока что рано. А полковником Франкини Михаил Александрович не переставал восхищаться. Виктор Антонович давно протоптал свою стёжку к

турецким военным секретам, да и не только к турецким. Как разведчик он принадлежал к особой касте – высшей. Полковников в Генштабе много, а успешных военных агентов не густо. Не только Хитрово, но вся посольская «семья» смотрела на него с почтением. Наверно, потому, что точно так же на него смотрел посол, который, как и Генеральный консул, обязан был не только исполнять инструкции МИДа и действовать согласно генштабовским шифровкам, но и обеспечивать работу своей резидентуры. Гласной и не очень – нелегальной.

А жизнь кипит, шумит, парит, подобно самовару в посольской столовой. Чуть зазеваешься, чуть промахнёшься – о-ё-ёй! – уже ожог, уже волдырь, уже кого-то надо выручать, кого-то выводить из-под удара. Порою срочно и неуловимо. Кому-то улыбнуться, крепко пожать руку, но улыбнуться и пожать руку так, чтобы об этом напечатала турецкая официальная газета «Сабах», лондонский еженедельник «Dayli News» или французский «Moniteur» – это нужно и важно. С точки зрения разведчика, послы для того и нужны, чтобы присутствовать на встречах, произносить торжественные речи и, когда нужно выручать своих, громко кричать и заявлять о том, что их права жестоко! нагло! незаконно! попираются. И послы бросались на выручку своих агентов, обвиняя друг друга в цинизме, негуманном поведении и чудовищном забвении Венской конвенции, законные статьи и положения которой нельзя трактовать, кому как заблагорассудится. Они, эти статьи, так же святы, как нерушима власть католического папы в Ватикане, любовь которого к своим заблудшим чадам не может вызывать сомнений.

– То, о чём вы говорите, клевета!

– Клянусь честью, это провокация!

– Я заявляю протест!

Главное, иметь соответствующие полномочия и верительные грамоты. А ещё послу надо уметь публично обижаться, изображая оскорблённую невинность.

Михаил Александрович достал серебряный «Bregat». Большая стрелка подпирала римскую цифру XI. Уже начались танцы.

Общаться с нужными людьми и вести свою замысловатую политику Игнатъеву помогал первый драгоман Макеев, а когда он отлучался (по распоряжению посла) его место тут же занимал Эммануил Яковлевич Аргиропуло или он, второй переводчик посольства, Михаил Александрович Хитрово, отлично знающий, что в дипломатической и нелегальной разведке своя иерархия. Второй секретарь миссии по своему воинскому званию и статусу разведчика может быть гораздо выше её руководителя, а сиволапый истопник в городской бане, не умеющий трёх слов связать без «ну» и «это», может быть не кем иным, как опытейшим резидентом, у которого в подручных ходит не только полковник Франкини, сам занимавший в дипломатической резидентуре российского Генштаба не последнее место, но, может быть, и сам посол. То, что делается на виду у всех, особой роли не играет. Официальный статус – это ширма, а что там за ширмой, за тройными голубыми занавесками из набивного китайского шёлка или блёсткой турецкой парчи – поди узнай! Но лучше этого не делать. Невидимая миру иерархия подполья, состоящая сплошь из людей, приученных работать тайно, тут же свернёт вам башку. Посольство – это бутафория. Кулисы балагана. Непроницаемый занавес. Если хотите, сцена итальянской оперы с её скрытой механикой, способной быстро менять декорации. Вот почему на вопрос: за кем из русских дипломатов следит турецкая контрразведка в первую очередь, можно смело отвечать: за всеми. Вот отчего кругом – переодетые агенты. А за какими важными секретами любая контрразведка охотится особо? За посольскими шифрами. А шифры эти за семью печатями, то ли в комнате без окон, где находится лаборатория дагерротипов, то ли в подвальной камерке с потайной дверью, которую не сразу и найдёшь, даже стоя около неё.

Родные в Петербурге думают, что ты посольский кучер, а ты на самом деле шифровальщик. Ни мать о том не знает, ни отец. И брат не знает, кто ты есть, да и не надо ему знать – здоровее будет.

Второй шифровальщик – хмурый, молчаливый и оттого как бы слегка сутулый увалень, числился дворником, но с дворницкой метлой его никто не видел. Да и вообще мало кто знал, что таковой имеется. Днём он спал, а по ночам «шаманил». Посольский дешифровщик – худой, узкий в плечах, с болезненно-бледным костистым лицом, тоже не любил бывать на людях. Как и оба шифровальщика, которых Хитрово называл «совами», он ютился в узкой комнатке, похожей на тюремный каземат. Еду для этих «сов» готовили отдельно, как правило, вечером. Ни шифровальщики, ни дешифровщик, никогда не появлялись в зале торжественных приёмов, но они бывали в канцелярии, в кабинете посла и в библиотеке, располагавшейся в просторной смежной комнате, сплошь заставленной высокими (до потолка) стеллажами для книг. За пределами посольства их никто не видел. Даже в сад не выходили, жили в закрытом режиме. Из шести комнат, в которые они могли заходить в ночное время, днём они не заходили ни в одну. Обычно, если в том была нужда, секретари посольства сами спускались к ним – в подвальный лабиринт. Понятно, что ни шифровальщикам, ни дешифровщику, никто завидовать не собирался: для здоровых мужиков жить взаперти, без соответствующих плотских развлечений, дело тяжкое. Подвигу равное. Драгомановы называли дворец миссии «каменным склепом», а жена полковника Франкини – «фешенебельным застенком». Каждый шифровальщик знает, что он никогда по своей воле не прогуляется по набережной Долма-Бахче и не познакомится с какой-нибудь приятной особой: ни в ближайшем – обозримом будущем, ни в отдалённом – непроглядном. Агенты турецкой «наружки» – филёры, топтуны, подмётки, все эти попрышайки-инвалиды, хитроглазые торговцы опиумом, приворотным зельем и квасцами для симуляции девственности, нахальные сутенёры и осторожные контрабандисты, – сразу же возьмут его в кольцо, пойдут по следу и раскусят, что это за фрукт. А чтобы гурманы из турецкой полиции остались с носом, истекли слюной, так и не отведав лакомого блюда, шифровальщика «стреножит» русская контрразведка. Тихо, быстро, незаметно. Так что, ни о каких любовных авантюрах, каким бы решительным и падким на женские прелести он ни был, шифровальщик может не мечтать. Даже зародись в его толковой голове дурацкий план по обольщению какой-нибудь местной красотки, пусть даже самого доступного пошиба, чувство долга и страх за свою жизнь (кому охота быть убитым в одночасье?) безжалостно принудят его, данника присяги, тоскливо куковать и сладострастно грезить в подвальной комнате российского посольства. А впрочем, есть ли разница, в каких условиях бытует шифровальщик? В какой подвальной или же иной тайной камерке ходит он из угла в угол, охваченный волнением любви, о какие шершавые стены «казённого» дома стучается он разгорячённым бессонницей лбом? Если и есть, то весьма небольшая. Всё равно он вечный рыцарь её величества военной тайны; государственной секретности. Вот, почему в министерстве иностранных дел при подборе кадров руководствуются двумя главными критериями: профессиональной подготовкой и политической ориентацией. Каждый шифровальщик, – носитель тайных сведений, военных и экономических секретов; каждый дешифровщик – данник и колодник особого негласного надзора. А разведкам всего мира именно такие люди и нужны, в чьих казённых головах всё время множатся секреты большой стратегической важности.

Хочешь не хочешь, протестуй не протестуй, взывай к благоразумию или проклинай людскую глупость, войны идут постоянно, ни на миг не прекращаясь. Они идут, как на генштабовских картах, так и за столом дипломатических баталий. Политика – игра опасная и ставки в ней высокие. То же самое в разведке. Вот почему здание российского посольства с приездом Игнатъева стало напоминать большой четырёхтрубный броненосец с его таранно-сокрушительным форштевнем, безотказной судовой машиной и тремя десятками убийственных по своей мощности орудий.

А вечер был в самом разгаре. Сияли свечи и гремел оркестр.

Глава XX

После раута, когда швейцары притворили двери за последним гостем, Николай Павлович поблагодарил всех своих сотрудников за старания и хлопоты, сказал, что вечер удался на славу, и по яркости, пышности, блеску, по царившему в зале настрою и праздничному оживлению бесспорно затмил собою званые балы иных посольств.

Затем все собрались в малой гостиной, где был накрыт роскошный стол для членов миссии и самого Игнатъева. Все блюда были приготовлены отдельно, чтобы ни у кого не сложилось мнение, будто бы его накормили объедками, угощая несвежей закуской.

Николай Павлович был весел, замечательно много шутил и поднял тост за музу дипломатии.

– За это стоит выпить! – воскликнул Хитрово.

Когда все выпили и вновь наполнили бокалы, он встал и шутиливо сказал.

– Вот теперь, когда мы утолили жажду, я могу настаивать на том, что муза дипломатии, объявись она среди нас в своём гаремном облачении, с величайшим энтузиазмом приняла бы нашего Николая Павловича в число своих любовников, ничем не ущемляя его прав на дерзновенно-чувственные ласки.

– С весёлостью и лёгкостью поверю! – в тон ему откликнулся Леонтьев, а Михаил Константинович Ону, человек мягкий, не склонный к внешним проявлениям эмоций, восторженно зааплодировал. Все дружно его поддержали.

Игнатъев мотнул головой. Рассмеялся.

– Вот, что значит, поэтический талант! Умно, самобытно и лестно. Спасибо.

– Рады стараться, ваше высокопревосходительство! – выпятив грудь колесом, с гвардейской лихостью и ёрнической ноткой в голосе, протарабанил Хитрово, крайне польщённый той оценкой, которую дал его застольному экспромту Николай Павлович.

Все наперебой заговорили.

Константин Николаевич Леонтьев, почти весь вечер просидевший наверху – в библиотеке, но всё-таки успевший чуточку пофлиртовать с хорошенькой юной гречанкой, чью причёску украшал шёлковый розан, и даже покружить её во время танцев, нашёл местечко за столом рядом с полковником Франкони и сразу же повёл тот разговор, который, чувствуется, начат был намного раньше.

– Я отнюдь не против гласности. Поверьте. Настоящая гласность, настоящая свобода печати ни в коем случае не должна восприниматься как путь к власти. Если она чем и является, так это велением совести, святым долгом сограждан всемерно помогать Отечеству. Но! – воскликнул он, разгорячённый танцами и флиртом. – Возьмите любой либеральный текст, а их, как нам известно, неисчислимо множество, и, прочитав его, вы сразу же поймёте, что все авторы подобных опусов до дурноты похожи друг на друга и страшно вредны для России.

– Чем? – полюбопытствовал первый драгоман Эммануил Яковлевич Аргиропуло, слышавший в некотором роде либералом. Либералом «монархического толка».

Константин Николаевич подлил себе в бокал вина и, сделав небольшой глоток, пылко ответил.

– Своим славословием!

– Кому или чему?

– Той отвратительной свободе, которая обеспечивает незыблемое право малой горстке изуверов безраздельно помыкать большей частью общества, ставя её на грань выживания и расправляясь со своими оппонентами самым жестоким, кровожадным, революционным способом. А способ этот нам известен – гильотина. Чик! – и всё: кровь фонтанирует, и ваша голова падает в ящик. Я вообще считаю, что либерализм это зло. Зло разрушительное. Чёрное.

– Поясните, – обратился к нему старший Аргиропуло с мрачным лицом похоронного церемониймейстера, чьё появление обычно не сулит ничего хорошего. – Лично я считаю, что чем чаще государство видит в своих гражданах врагов, тем больше вероятности его возможного распада.

– Нет ничего проще, – Леонтьев промокнул усы салфеткой. – Либерализм безнационален, космополитичен по своей сути; иначе бы его не насаждали, как картошку. Повторяю, – он резко вздёрнул подбородок, словно боялся прослыть резонёром, скучным до зевоты, или его внутренне корбила необходимость оспаривать чужие взгляды. – Всё либеральное бесцветно, общеразрушительно, бессодержательно.

– Да в чём же оно, сударь, столь бесцветно и бессодержательно, как вы об этом только что сказали? – в голосе Эммануила Яковлевича послышалось искреннее, отнюдь не наигранное, как это случается в спорах, явное недоумение.

Константин Николаевич нахмурился. Затем сказал – с гримасой недовольства, как офицер, собравшийся командовать гусарским эскадроном, а вместо этого оставленный при штабе.

– Оно бессодержательно и общеразрушительно в том смысле, что одинаково возможно всюду. Повсеместно.

– Разве это плохо? – вытянув руку, точно и впрямь нащупывал дорогу в темноте или пытался схватиться за его плечо, увязал в полемике старший Аргиропуло. – Общие гражданские права.

– И общие гражданские свободы? – не скрывая глубокой иронии, откликнулся на его довод Леонтьев, и в его взоре промелькнула скука.

– Разумеется! – воскликнул старший Аргиропуло с радостно горящим взором. – Это приведёт к тому, что люди станут лучше.

– Они просто будут счастливы! – расхохотался Хитрово, поддерживая в споре своего приятеля.

– Конечно! – не уловив издёвки, согласился с ним Эммануил Яковлевич. Задумайся он над словами Леонтьева или хотя бы над той интонацией, с которой тот обращался к нему, он ни за что не стал бы в позу оппонента.

– Вы говорите «конечно», и тут же забываете, что у каждого народа свой язык, своя культура. Нет культуры «всеобщей», но есть национальная, присущая лишь этому народу. А это значит, – с жаром произнёс Константин Николаевич, – что у каждой культуры и правда своя, как свой алфавит и буквенный шрифт; в нашем случае – «кириллица», и нормы русского правописания. Вы говорите: «Люди станут лучше». «Они просто будут счастливы». Смешно! Лучше ли стали люди, счастливее ли они в либеральных государствах? Нет! Они не стали ни лучше, ни умнее, ни счастливей. – Глаза Леонтьева сверкнули. – Они стали мельче, ничтожнее, бездарнее.

– Пожалуй, Константин Николаевич прав, – внимательно следя за разгоревшейся полемикой, вмешался в разговор Игнатъев. – Нет более смешного идеала, чем «общечеловеческое счастье». Ведь в человеке хаоса не меньше, чем во всей вселенной.

Воодушевлённый его репликой, Леонтьев снова вскинул голову.

– Вот почему из моих уст вы всё чаще слышите проповедь страха Божия и жёсткой иерархии в социальной жизни.

– Выходит, вы жестокий крепостник? – прибегая к последнему средству и как бы намекая на оппозиционность Леонтьева по отношению к монаршему Манифесту, даровавшему свободу крепостным крестьянам, недобро сузил глаза Аргиропуло.

– Выходит, – с ходу парировал его опасный выпад Константин Николаевич. – И, вследствие того, что я «жестокий крепостник», предвижу смуту в нашем обществе – великую. А чтобы задавить её, пресечь в самом зародыше, государство обязано, вы понимаете? обязано всегда быть сильным, грозным, справедливым. Иногда жестоким и безжалостным.

– Но, почему жестоким? Почему безжалостным?

– Да потому, что общество всегда! везде! слишком подвижно, бедно мыслью и слишком страстно.

«То есть лживо», – подумал Игнатъев.

Леонтьев продолжал свой натиск.

– Чем крупнее государство, тем неукоснительнее должны исполняться все его законы, вплоть до жестоких и даже свирепых. Без дисциплины государства нет, а если есть – то одна вывеска. Вот на неё-то либералы и молятся.

– Разве такое возможно? – подал голос Эммануил Яковлевич с таким видом, словно нашёл в своём кармане, вместо привычного платка, посольский шифр маркиза де Мустье.

– Возможно! – сказал Константин Николаевич. – Будучи жалким охвостьем, либералы извечно стремятся главенствовать, ни о чём так пылко не мечтая, как о личной власти и абсолютной безнаказанности, ибо известно, что ненависть профанов всегда направлена против основ государства и христианского благоразумия с его неизменным постулатом любви к ближнему.

– Относиться к другому так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам, – пригубив свой бокал, сказал военный атташе.

– Этот древний завет, данный человеку Богом, стал буквально красной тряпкой для приверженцев иного постулата: «Мне – всё, остальным – шиш».

– Я думаю, их очень мало, – проворчал старший Аргиропуло.

– Но они спаяны подпольной круговой порукой, скованной из золота, банковских счетов и капиталов, нажитых тайным злодейством и явными аферами.

– Есть такие люди, есть. Их больше, чем мы думаем, – сказал Макеев, отрываясь от еды. – Себялюбцы до мозга костей.

– Вечно со всеми ссорятся и пребывают в обиде, – поддержал его о. Антонин, неустанно проповедовавший смиренномудрие как истинную добродетель, немислимую в стане гордецов. – При этом не просто желают, а требуют, чтобы их все любили.

– Да, да! не удивляйтесь, – вступил в разговор Игнатъев, считая реплику архимандрита очень важной. – Именно требуют, считая себя, если не средоточием всех благодетелей, то, по крайней мере, людьми справедливыми.

– Хотя их «справедливость» питается гневливостью и непрерывным осуждением кого бы то ни было, вплоть до самых близких родственников: братьев, сестёр, матерей. – Продолжил его мысль священник с той благопристойной деликатностью, в которой даже самый тонкий слух не уловил бы нотки осуждения. – Часто случается так, что они ссорятся даже со своими детьми, проявляя жуткий эгоизм и пугающую чёрствость сердца. Они не только родственников костерят, они на церковь возводят поклёп. Вот, что страшно. – Архимандрит покачал головой. – Жаль таких людей, искренне жаль; они и сами мучаются, и вокруг себя всех мучают.

– У китайцев есть пословица: «Сделай своё сердце маленьким», – сказал Николай Павлович, внимательно следя за разговором. – Эту же мысль мы находим у Христа, когда Он говорит ученикам: «Будьте как дети».

– У о. Антонина грустно затуманились глаза.

– Как же это трудно, кто бы знал.

Леонтьев тотчас повернулся в его сторону – с вопросом.

– Почему так? Прозрения всегда от Бога, а ошибки всегда наши?

– В этом тайна синергии – нашего с Ним соработничества.

– Не согрешишь – не покаешься?

– Скорее всего, так, – обвёл взглядом свою паству о. Антонин. – Бог не хочет спасти нас без нас. И лучшим тому доказательством является то, что ни один священник не имеет право служить в пустой церкви, ибо литургия – дело общее.

– Батюшка, – обратился к нему молодой Аргиропуло, – благословите задать Вам вопрос.

– Бог благословит.

– Старые люди говорят: «Не сделав добра, не получишь зла». Выходит, что мы сами, делая добро, преумножаем зло. Я этого не понимаю. Объясните.

– А тут и объяснять особо нечего, – сказал архимандрит. – Дьявол искажает всё, что можно. Не зря ведь сказано: «Где Бог, там он». Но дело в том, что добро всегда больше зла; в противном случае жизнь на земле давно бы прекратилась, если иметь в виду её разумное начало. И вообще, Господь наш Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Радуйтесь и ничего не бойтесь».

– Даже смерти? – спросил Хитрово.

– Даже смерти, – ответил о. Антонин.

– Мне кажется, чем больше люди говорят о ней, тем она страшней и непонятней, – проговорил Михаил Константинович Ону, скромно выглядывая из-за плеча полковника Франкини.

– Смерть не страшилище, а мерило полноты жизни. Следует не забывать, что жизнь протяжённее смерти. В этой мысли исток нашей веры.

– Во что? – едва ли не всем корпусом развернулся к нему Леонтьев и его миндалевидные глаза с тяжёлыми верхними веками встретились с глазами священника.

– В Небесный Иерусалим, – кротко ответил тот и счёл нужным добавить. – В жизнь вечную.

– А вот ответьте, ваше преподобие, как мы пойдём на Страшный Суд? В каком виде мы предстанем перед Богом? В виде душ бесплотных или же такими, как мы есть? Со всеми, извините, потрохами?

– Мы грешили в теле, в теле должны и отвечать.

Настоятель посольской церкви, освящённой в честь Николая Чудотворца, уже успел вкратце передать Игнатъеву свой разговор с болгарским митрополитом Анфимом; и, когда тему греко-болгарских отношений вновь поднял Леонтьев, увещевающе промолвил, что в сложной теме греко-болгарских отношений даже самые трагические интонации должны быть приглушены сердечным евангельским словом: «Да любите друг друга».

– Болгары бы и рады, да греки больно любят серебро, – пробурчал Макеев, отправляя в рот кусочек торта.

Напольные часы в гостиной пробили пятый час и все взглянули на Игнатъева.

– Расходимся, Николай Павлович?

– Пора, – ответил он и первым встал из-за стола.

Глава XXI

Борьба иностранных послов за влияние на падишаха и его двор, их жесточайшая конкуренция в этом вопросе напоминала жестокую схватку, битву не на жизнь, а на смерть. А тут ещё турецкая контрразведка, руководимая вторым секретарём британского посольства, шагу не давала ступить «ловцам жемчуга», как именовал своих помощников военный атташе посольства полковник Франкини. Он уже наметил для себя семь пунктов в разработанном им плане по нейтрализации турецких горлохватов. И все эти пункты, достойные того, чтоб обойти их молчанием, требовали срочного, безотлагательного исполнения с привлечением тех лиц, которые с пелёнок знают, что в жизни чудес мало, а в разведке их и вовсе не бывает. Удачи и провалы – сплошь и рядом, как и во всяком смертельно-опасном, рискованном деле: и с нашей стороны, и со стороны противников. Вот почему так важно не допускать ошибок. Ни малых, ни больших, ни вот такусеньких! Российский Генштаб неукоснительно требует главного: работать без намёка на изъясн. Стоять напротив зеркала и в нём не отражаться. Турецкая контрразведка дама серьёзная. С ней особенно не пошуткуешь. Чуть протянешь руку, чтоб погладить,

ан уже томишься в каталажке. Уже стучишь себя по голове: дурак я, форменный дурак! ведь знал же, с кем имею дело, а взбрыкнул, полез на абордаж, решил рискнуть. Сиди теперь, лязгай зубами, сплёвывай кровь и требуй: «Позовите консула! Я иностранный подданный». Или заученно скули: «Родился я в Кордове, в семье бедного дворянина. Рано остался сиротой...» А у сироты какие шансы выйти в люди? Стать военным или же шпионом. Стать тем, кого однажды вызовет начальство и прикажет, мало-помалу отдаляясь от него: «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Сумеешь выполнить наказ – спасибо, огурец! А не сумеешь, обзывай себя балбесом, шалопаем, простодырой, это уж как тебе нравится.

Вечером уйма секретных бумаг, документов и сведений, консульских справок и агентурных донесений, пропитанных ядом безукоризненно тонких интриг, а кое-где и человеческой кровью, были тщательно изучены, разложены по папкам и спрятаны в бронированный сейф. Виктор Антонович покружил по канцелярии и удовлетворённо подумал, что английская разведка, раскинувшая свою сеть в Константинополе, ошиблась в своём чувстве превосходства, которое она, конечно же, придумала себе. Так юные курсистки придумывают себе любовь к седовласым, остроумным, импозантным и, разумеется, достойным всяческого обожания профессорам – вплоть до исключительного своеобразия интимных отношений, обусловленного девственно-наивным опытом едва созревшей и мечтательной натуры. Как бы там ни было, полковник Франкини сделал всё возможное, чтобы не оказаться в роли мальчика для битья и не почёсываться от тумачков иностранных разведок, как почёсывается Игнатъев от щедро отпускаемых ему оплеух в виде горчаковских «циркуляров». Николай Павлович как-то обмолвился, что последняя депеша канцлера по своей унылой мрачности напоминала почтовую клячу, которую ведут на живодёрню.

– Мне предлагают сидеть тихо! – восклицал он с таким видом, точно костлявая рука смертельной скуки, способной задушить любого оптимиста своей искусственной, строго размеренной и лицемерной жизнью, уже взяла его, несчастного, за горло; взяла так, что ни вздохнуть ни охнуть. – Это же форменное издевательство!

Примерно то же самое, только своими словами, говорил Игнатъеву его верный оруженосец, камердинер Дмитрий Скачков, далеко за полночь сообщавший своему барину, что все добрые люди по ночам спят, а не штаны просиживают.

– Разве это жизнь? – пускался он в философические рассуждения, застывая в проёме двери с канделябром в руке и недовольно глядя на огромные стопы газет и бумаг, висевших на рабочем столе Николая Павловича. – Тьфу, а не жизнь! С такой жизни ноги запросто протянешь. – Несмотря на строжайший запрет Игнатъева входить к нему без стука, напоминать о времени и отрывать от работы, пусть даже за окном уже светает, Дмитрий всегда входил в посольский кабинет «без менуетов», обзывая «менуетами» приличные манеры и столь противный его духу великосветский этикет, молча пропускал любой запрет мимо ушей, дерзко настырничал и, всячески поддерживаемый Екатериной Леонидовной, что для него было ответственно и лестно, всячески оберегал своего барина от «дурацкой», как ему казалось, умственной работы, не видя смысла в том, чтоб шибко, то есть, увлекаться ею. – Мне что, рази чернила жаль? – оправдывался он, переминаясь с ноги на ногу. – Себя-то надо попустить, хотя бы в отдых! Сколько можно пером егозить? Глаза вон снова красные! Не дело!

Любил его Дмитрий, жалел. Даже, когда чертыхался.

Заперев сейф и спрятав ключ в карман, полковник Франкини заглянул к Николаю Павловичу и отчитался о своей поездке на полуостров Галлиполи, образующий один из берегов Дарданелльского или Галлиполийского пролива, соединяющего Мраморное море с Эгейским.

– Десант в этом месте возможен? – спросил его Игнатъев, помня основной вопрос одной из последних генштабовских «шифровок».

– Возможен, – без особого энтузиазма ответил Виктор Антонович. – Только потерь при его высадке будет немало. Полуостров покрыт невысокими, но очень скалистыми и трудно

проходимыми горами. Во многих местах горы эти подходят к самому проливу, спускаясь в него крутыми и отвесными стенами гранита и базальта. Я определил несколько площадок, на мой взгляд, довольно сносных. Что касается азиатского берега, то он пологий; лишь вдали гористый.

– Крепостей много?

– Четыре. Все они соединены между собой земляными укреплениями.

Николай Павлович выбрался из-за стола и прошёлся взад-вперёд по кабинету. Он поймал себя на мысли, что именно Константинополь с проливами не дал Наполеону Бонапарту поделить мир с Александром I. Вспомнив об этом, Игнатъев спросил своего атташе, знает ли он что-либо об этом несостоявшемся проекте?

– Можно сказать, ничего, – честно ответил полковник Франкини. Он хотел было тоже подняться, но Игнатъев жестом показал, что он может сидеть, и на память привёл высказывание Наполеона I: «Я мог бы разделить Оттоманскую империю с Россией, об этом не раз заходила речь между Императором Александром и мною, но Константинополь всегда спасал Турцию. Эта столица была великим затруднением, настоящим камнем преткновения. Царь её требовал; я не мог её уступить – это ключ слишком драгоценный, он один стоит целой империи!»

– А что отвечал ему на это Александр I?

– Александр Павлович доказывал, что Константинополь с его проливами является ключом к его дому, но Бонапарту нужен был ключ к мировой торговле.

– Что и привело к войне 1812 года.

– Естественно, – откликнулся Николай Павлович. – А далее был Ункяр-Искелесийский союзный договор, в секретной статье которого Турция обязывалась закрыть Дарданеллы для всех иностранных военных кораблей, а взамен получала помощь России. Видя, как хорошо начинают складываться отношения между двумя соседними империями, европейские державы стали всячески противиться упрочению внезапно возникшего союза.

– Им, конечно же, уже мерещилось, что русские вошли в Константинополь, – усмехнулся Виктор Антонович и заложил ногу на ногу.

– Не только вошли, но и овладели им, – уточнил Игнатъев. – Чтобы лишить Россию преимуществ, они решили сообща «защищать» Порт от её внутренних врагов.

– Вот же низкие душонки!

– Ниже уже не бывает, – согласился с ним Николай Павлович. – Австрия взяла в подружки Пруссию, Франция – Англию, и, вдоволь пошептавшись меж собой, вынудили Россию заключить в сорок первом году Лондонскую конвенцию, согласно которой над Турцией устанавливалась совместная опека.

– Нас опять поставили... в зависимое положение, – тоном хорошо осведомлённого и склонного к народным оборотам речи практического человека заметил полковник Франкини.

– Это и повлекло за собой Крымскую войну с её трагическими последствиями, – проговорил Игнатъев таким тоном, как будто снова испытал болезненное чувство унижения, растерянности и собственной неловкости, напрямую обусловленными уничтожением русского флота, сдачей Севастополя и Конвенцией о проливах, подписанной в Париже 18 марта 1856 года. – Россию словно в бочку засмолили.

– Нам осталось отыскать армянский Протокол, разгадать шифры британской разведки и можно считать, что дело сделано, – сказал Виктор Антонович, доподлинно зная, что агенты Николая Павловича день и ночь трудились в Персии и в Греции, в Италии и в Австрии, в Белграде и Каире. Про Сербию, Болгарию можно не упоминать. Там каждый третий на него работал. Но больше всего их было в Стамбуле, и обходились они русской казне недёшево, уже хотя бы потому, что платных доносчиков у Абдул-Азиса насчитывалось не менее тридцати тысяч, и каждому из них хотелось «сшибить копеечку» на добровольном шпионстве. Падишах ежегодно тратил на своих джуркалджы три миллиона фунтов стерлингов, не считая особых расхо-

дов. Оставалось только догадываться, почему годовой бюджет Турции исчислялся во франках, а расходы на контрразведку – в английской валюте?

Да и других вопросов было достаточно.

Часть вторая. Кого убьют первым?

Глава I

Десятый день не унималась буря. Она срывала с домов крыши, ломала лёгкие постройки, и, словно отару овец на убой, гнала в Мраморное море тёмные волны Босфора.

Пароходы, в отличие от их бывалых капитанов, нервно смоливших крепчайший турецкий табак, едва дымили трубами, не решаясь тягаться со шквалистым северным ветром.

Напуганная штормовой дуrolомной погодой, почтовая «Таврида» целую неделю проторчала в одесском порту. Сунулась было в открытое море, и тотчас поджала хвост, будто побитая дворняга. Забилась в свою конуру. Старенькая «Тамань» четыре дня простояла у выхода из Буюк-дерского пролива и, не решившись отправиться в рейс, возвратилась в Константинополь, имея на своём борту две посольских экспедиции.

По телеграфу сообщили, что стихия разгулялась не на шутку: только в одесской гавани потоплено пятьдесят судов! А что говорить о тех, кто на свой страх и риск отправился в плавание? Сколько людских жизней оборвалось в эти дни? Страшно подумать!

Игнатъев тяжело вздохнул и, перекрестившись на образ Николая Угодника, молитвенно попросил его утишить бурю и спасти людей, пребывающих в бедствии. Чувствовал он себя скверно. Посольство уже пятнадцать дней оставался без писем. Прошлый раз «Таврида», пробившаяся через лёд, привезла сразу три почты. На следующий день капитан повёл её назад в Одессу, решив добраться на «авось». Николай Павлович, с тревогой проводивший пароход со своими срочными депешами, пришёл к неутешительному выводу: почтовое сообщение из рук вон плохое! Последняя телеграмма от Горчакова добиралась до него ровно две недели – четырнадцать дней. Его дипломатическая связь с Петербургом не шла ни в какое сравнение со связью других посланников со своими правительствами. Его английский оппонент сэр Генри Бульвер получал ответы на свои запросы на второй, много на третий день. Впрочем, Горчаков уже привык к тому, что Игнатъев не беспокоит его лишними вопросами и действует по искре разума. «Ладно! – подумал Николай Павлович, усаживаясь за рабочий стол в своём обширном кабинете. – Будет, что будет, а будет, что Бог даст!» К этой мудрой поговорке он нередко прибегал в Китае, где опасность подстерегала его на каждом шагу, а задача перед ним стояла ничуть не легче той, что стоит теперь в Константинополе: вот почему он вспоминал её с особым оптимистическим чувством. После женитьбы он стал замечать в себе большую перемену. Хотя затруднительные обстоятельства, хитросплетения противников и различные препоны по-прежнему оживляли его, придавали свежесть голове и стойкое желание бороться, но неприятности, ожидаемые из Петербурга, отбивали прежнюю охоту к службе. Они словно напоминали ему, что здесь, в Константинополе, можно очень скоро сломать себе шею. Новый директор Азиатского департамента, его бывший сослуживец и преемник Стремоухов, старший советник МИДа барон Жомини и им подобные, вроде того же Новикова, уже вдоволь нарубили суковатых палок, чтобы совать их ему в колёса, и с избытком заготовили крючков. Расчёт у этой шайки прост: лишить Игнатъева уверенности в своих силах и подвести к тому, чтоб он наделал немало ошибок. Складывалось впечатление, что люди преднамеренно творят подлости, так как замечено, что нечестивцы живут долго. Но, с другой стороны, здравый смысл подсказывает, что опираться нужно на терпение, да ещё на евангельскую заповедь: «Кому много дано, с того много и спросится». Посланнику России крайне важно помнить и не забывать об этом. В основе мудрости лежит смирение. Смирение стрелы на тетиве. Как говорил ему китайский монах Бао? «Правильно оперить стрелу, значит, облегчить ей путь, а правильно заострить наконечник, значит, уверовать в свою способность поражать цель». Вот почему каждую свою

встречу с Абдул-Азисом, каждый диалог с ним Игнатъев выстраивал так, чтобы отчётливо просматривалось прошлое двух великих империй – России и Турции – и предвосхищалось будущее их добрососедство. А чтобы оно состоялось, надо ощущать его сегодня, надо приступать к нему, как приступают к делу чести, к храмовой службе и подвигу. Но кто бы только знал, как трудно, как неимоверно тяжело сочетать учтивость и отвагу! Кто бы только знал?! А спорить с иностранными послами? Призывать их видеть то, на что они привыкли закрывать глаза? Взывать к их разуму, к их совести, к их вере? Попробуйте повесить кошку, и вы скоро поймёте, что легче разmozжить ей голову, нежели добиться своего.

За окном бушевал ветер, на душе было скверно, хмурые мысли сбивались и путались.

Игнатъев встал из-за стола и принялся кружить по кабинету. Его мучили вопросы, каждый из которых требовал предельной честности перед собой. Зачем он внушил себе мысль, что сумеет сделать то, чего другие не сумеют, продумывая каждый шаг на своём новом поприще? Зачем выставил себя «смутьяном» в глазах Горчакова? Какой гордынею был обуюн, когда решительно вообразил, что ему достанет сил исправить зло, причинённое России европейскими державами, суть лютыми её врагами, на чужой земле, в базарно-толкучем Стамбуле? Выходит, он такой же глупец и жалкий себялюбец, как и все они? А если учесть то, что он, ко всему прочему, обрёл молодую жену, да и себя самого, на скучную затворническую жизнь в четырёх стенах, причиной которой, во многом, стала горькая потеря сына, его милого Павлуши, то картина получается грустнейшая! Бросить директорство и удалиться на чужбину только затем, чтоб потерять ребёнка – что же здесь, простите, дельного? Так рассуждают сейчас многие из его бывших сослуживцев. Но, в основном, так полагают те, для которых русский посол – тот же рыжий на ковре, цирковой клоун и не более, даже если всё внимание приковано к нему, к тому, что он сказал и сделал.

«Нет, – размышлял Николай Павлович, изредка останавливаясь напротив окна и наблюдая ненастное небо, – чтобы не смеяться над самим собой и не давать недругам повода упоминать своё имя с презрением, мне надо крепиться, продолжать начатое дело, поднимать значение России на Востоке, несмотря на лицемерие коллег и душевную распутицу».

Уязвлённый ложью и наветами, теряющий веру в то, что его служебное усердие по достоинству будет оценено начальством, и оттого стремящийся в деревню, на покой, в глубине души Игнатъев понимал, что он неправ. Все его обиды, мрачные мысли и непонятно откуда берущееся чувство бессилия лучше всего объяснялись пресловутой ностальгией. Тоской по оставленной Родине. Стоило ему подумать о России, как перед глазами сразу возникали виды Петербурга или отцовский дом в селе Чертолино, больше похожий на русскую избу с резьбой, террасами и ставнями, нежели на барскую усадьбу. Вот он и рвался в деревню, в своё радостно-вольное, исполненное счастья прошлое, объясняя своё желание удалиться на покой тем, что он, де, семьянином стал; стареть стал, видно. Разумеется, лукавил. Кокетничал. Ему исполнилось тридцать три года – самое время для подвигов. И лучшим доказательством того, что усилия Игнатъева по восстановлению престижа России на Востоке не прошли даром, явилось то, что константинопольские армяне сразу же припрятали свой Протокол куда подальше.

На его поиски полковник Франкини снарядил лучших своих агентов, по большей части нелегальных.

Николай Павлович очень рассчитывал на их сметку и профессиональную оборотистость. Если у дипломатической резидентуры хватка жёсткая, то у нелегальной она мёртвая. И характер у неё бойцовский. А настоящий бойцовский характер это не что иное, как неуёмное стремление к победе даже в том случае, если невозможно увидеть её очертания.

Разве у него он не такой?

Будь Игнатъев рохлей, размазнёй, тухлой-матюхой, то осложнения, препятствия и всевозможные ловушки не росли бы вокруг него, словно грибы. В особенности много хлопот доставляло греческое православие, точнее, его духовенство.

На первых порах своей службы в Константинополе Николай Павлович серьёзно ставил себе правилом не вмешиваться в дела церкви, даже жаловался Горчакову, что «духовное ведомство» насильно хочет вмешать его в церковные вопросы. Он находил это «странным» для себя, но в скором времени убедился на собственном опыте, что горькой чаши сей ему не избежать. Русский посол в Турции и все почти консулы на Ближнем Востоке, где бы они не находились, хотя бы они того или же нет, вынуждены большую часть своего времени уделять именно вопросам церковным, волей-неволей, иногда с азоз, начиная изучать историю церкви, каноническое православие и его уставную жизнь. Вот и ему, наряду со славянскими вопросами, будь они сербскими, черногорскими или же болгарскими, не говоря уже о греческих – болезненных и чрезвычайно острых, пришлось уделять много сил и времени деятельности православных церквей на Балканском полуострове. Чтобы быть в курсе дела и не допускать крупных просчётов, дающих возможность обойти его более ловким и сильным противникам, Игнатъев вёл переписку с начальником русской Духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Леонидом (Кавелиным), который, как бывший военный (двенадцать лет прослужил в гвардии), сам испытывал острейшую нужду в его дипломатической поддержке. Не будь рядом настоятеля посольской церкви архимандрита Антонина, чьими мудрыми советами Николай Павлович неизменно и вполне успешно пользовался, трудно сказать, насколько удачно решал бы он вопросы православия. Напряжённая работа, связанная с изучением свежего «болгарского раскола» и застарелых иерусалимских склок, отнимала у него всё свободное время, и он признавался жене, что запустил переписку с друзьями, и что времени на отдых у него ещё долго не будет. Служба забирала его целиком, без остатка. Ему приходилось бороться не столько с политикой и интригами Австро-Венгрии, сколько с враждебным настроением Англии и Франции, постоянно выступавших в роли заклятых противников России. Они всячески боролись с православием и дружно защищали иноверцев, будь то римско-католики, протестанты или иудеи.

– Духовные гробовщики! – возмущённо говорил он отцу Антонину, поддаваясь минутному отчаянию. – Они хотят похоронить Россию. Втихомолку.

Архимандрит немедля откликнулся.

– Да. Хотят. Только они о Боге забыли.

Игнатъев откровенно сокрушался, видя беды православия. Раньше он и представить не мог, до какого унижения, раздора, своеволия, до какой гадости дошло единоверное священноначалие, которое ему приходилось ежечасно отстаивать, и от внешних врагов, и от внутренних, а всего более – от страстей и интриг патриархов. Все они беспрестанно ссорились между собой и не стеснялись в выражениях. Слушая их сплетни и охулки, Николай Павлович диву давался: как же так можно? Или вы не братья во Христе? Или забыли заповедь Божью: «Да любите друг друга»? Рассуждая о церковном нестроении, он приходил к мысли, что несчастье народов состоит в том, что ими управляют люди, для которых потеря одного куруша с лиры или же сантима с франка является трагедией. Одно дело упорный труд во имя человеческого достоинства, во имя Божьего завета «зарабатывать хлеб свой в поте лица своего», и совсем другое – алчное желание урвать, нагло присвоить результат чужого труда, зачастую просто непосильного. Лишний раз он уверился в этом, когда беседовал с бароном Редфильдом, чьи доходы в Турции росли, как на дрожжах.

«А вы как думали? – хмурился драгоман Макеев, стоило при нём упомянуть имя финансового олигарха. – Мир торгашей немислим без обмана».

Игнатъев и сам понимал, что развивающийся капитализм с его жесточайшим диктатом, как и банкирский дом барона Редфильда с его величественным фронтоном, это вам не избушка на курьих ножках. Им не скажешь: «Поворотитесь ко мне передом, а к лесу задом». Не тот тип архитектуры.

Как стоял мир наживы ко всем прочим людям задом, так он и останется стоять.

– Не терзайте моё любопытство, – шуруя мизинцем в ухе и лукаво щура один глаз, проговорил барон Редфильд, когда Николай Павлович заговорил с ним о постройке небольшой больницы для детей-сирот христианского вероисповедания. – Может, я и впечатлителен, но не настолько, чтобы швырять деньги на ветер. Самый простой способ заработать бессонницу – это стать благотворителем.

Заметив скорбную гримасу на лице Николая Павловича, он театрально рассмеялся.

– Ха-ха-ха! Я позабыл предупредить вас, господин посол, что отношусь к разряду циников. Хочу, чтоб всё было по-честному. Как в первую брачную ночь.

Толстый кривой нос банкира почти касался нижней губы – мясисто-красной и брезгливо оттопыренной.

– И потом, – сказал он, отсмеявшись, – в силу какой морали я должен жалеть христиан? Хотя бы и несчастных. Лично мне и всем обрезанным по вере иудеям наплевать на всех, кроме себя, и разве это плохо? Своя рубашка – ближе к телу. Закон жизни. Что? Я говорю, как брадобрей, ни разу не ходивший в синагогу? А что вы там услышите, чего бы мы не знали? – нимало не тушуясь, разглагольствовал барон Редфильд, раскуривая толстую сигару. – Когда мне было девять лет и я любил одалживать мальчишкам деньги, мой мудрый дедушка Хаим Алфей Лемстер, владелец меняльной конторы, потыкал меня пальцем вот сюда, – он нагнул голову и показал свою макушку, – потыкал и сказал важную вещь: «Когда у вас в долг берёт кто-то один, всегда есть надежда, что деньги вернуться, но если заёмщиков больше десятка, ни о каком возврате долга можете не беспокоиться». – Вот почему я по сей день гребу деньги лопатой. А мой родной племянник мне не верил и, что же вы хотите? Разорился! Теперь он сочиняет прокламации против евреев и читает их своей жене. Короче, господин посол, добрые дела условны, а условности обременяют. Не усложняйте себе жизнь. Хотите счастья? Так и с Богом!

Зундель-Соломон опять захохотал.

Глядя на него в этот момент, Игнатъев вспомнил китайскую мудрость: «Радость – широко раскрытая душа, веселье – широко раскрытый рот».

Вечером он принимал у себя бывшего комиссаром монастырской комиссии Владимира Егоровича Энгельгардта, крайне расстроенного тем, что румыны отказались вернуть хотя бы часть захваченного ими русского церковного имущества.

– Ничего, – успокоил его Николай Павлович, – придёт время, вернут.

– Когда мы вернём Бессарабию? – с надеждой во взоре глянул Энгельгардт.

– Естественно, – кивнул Игнатъев и тут же добавил: – У меня сейчас других забот полно. Мне, к примеру, позарез нужен франко-армянский Протокол, который они сами называют тайным. Мне кажется, имей я его у себя на руках и знай, какие в нём содержатся статьи, я смог бы использовать этот документ в нашу пользу. Думаю, что и Абдул-Азис не отказался бы прочесть его вместе со мной, причём, с великой благодарностью. Таким образом, я получил бы хороший козырь в нашей политической игре.

Владимир Егорович склонил голову набок, как бы прислушиваясь к самому себе, а затем распрямил спину.

– Я полагаю, сделать это будет сложно. Французы – опытные конспираторы, да и армяне, как я слышал, умеют хранить тайны. По крайней мере, мне так говорили.

– Умеют, – согласился с ним Николай Павлович. – Но и мы не лыком шиты. Консула мои все грамотные, ловкие в таких делах. Если я от них чего и требую, так это действовать умно.

– Это каким же образом? – чуть подавшись вперёд и упираясь правой рукой в колено, поинтересовался Энгельгардт. Выражение лица его стало таким, словно и ему в скором времени понадобится этот навык.

– Старинным, хорошо известным, которым пользуются все европейские разведки, – без тени смущения проговорил Игнатъев: – «Если надо, укради, но не попадайся».

Владимир Егорович расхохотался.

– Можете им передать, что в нашем министерстве финансов как раз такие люди и нужны.

– Мне самому без них зарез, – так же, со смехом, признался Николай Павлович.

– А турки, турки что? – отсмеявшись, полюбопытствовал Владимир Егорович. – Как они смотрят на ваши проделки?

– Чаще всего – сквозь пальцы, – как о чём-то само собою разумеющемся пояснил Игнатъев. – Здесь важно соблюсти закон, хотя бы внешне.

– Я полагал, что турки очень подозрительные типы, а вы рисуете их чуть ли не растяпами.

– Всё верно. Турки подозрительны ужасно. Особенно к нам, русским. Но если их правитель, в нашем случае султан Абдул-Азис, не скрывает своего доброго расположения к послу России, значит, некая поблажка нам даётся. Она как бы допустима. Вот и всё. По сравнению с французами и англичанами, которым позволительно – пока! – гораздо больше, нежели нам, мы выглядим в глазах османов уличными попрошайками. А, в общем, – сказал он тем же ровным тоном, – и французы, и британцы, и австрийцы – все мы тут живём под негласным надзором турецкой полиции и всевозможных разведок. Поэтому мы укрепляем положение своё и всё, что можно укрепить, семь раз подумав, крайне осторожно. Хотя, – Николай Павлович вздохнул, и глаза его заметно потемнели, – когда соперники грубят, я тоже не терплю, показываю зубы.

– Другими словами, – сказал Энгельгардт, – жизнь любого дипломата не такая уж сладкая штука, как это принято считать, и проходит она трудно.

– В погибельном общении со злом, – грустно уточнил Игнатъев. – Не зря же сказано, где люди, там и страсти. Стоит сесть за стол переговоров, как он тотчас превращается в каменоломню. И когда простым кайлом не обойтись, приходится бурить шурфы и закладывать взрывчатку.

– Опасное дело.

– Ещё бы! – воскликнул Николай Павлович. – Семь потов с тебя сойдёт, всех чертей помянешь, пока внушишь противнику, что «добро, недобро сделанное, не есть добро» в его высоком понимании. И тут уже не до вопросов, почему одним – всё, а другим – кукиш с маслом? Схватился – рубись до конца, как в настоящем бою. А нет, езжай в деревню, в глушь, просись в отставку.

– Но ведь нельзя же воевать на протяжении всей жизни? – озадачился вопросом Владимир Егорович, слушавший Игнатъева с особенным вниманием.

– Нельзя, – согласился с ним Николай Павлович. – Но это лишь в том случае, если человек рождён мечтателем. А стол переговоров – поле битвы. Кто облачился в платье дипломата, тот, извините, принял вызов, встал к барьеру, вскинул пистолет. Он воин, дуэлянт, даже в том случае, если не знаком с дуэльным кодексом.

– Но дуэлянт должен уметь стрелять без промаха! Иначе, – Энгельгардт развёл руками, – ему крышка.

– Несомненно! – ответил Игнатъев. – Примеров тому много.

– Вы имеете в виду смерть Грибоедова?

– Да разве он один? – вопросом на вопрос откликнулся Николай Павлович. – На послов давно идёт охота.

– А вам не угрожают? – спросил Энгельгардт с хорошо читаемой тревогой в голосе. – Убийством или же расправой?

– Угрожают, – невозмутимо произнёс Игнатъев, словно речь шла о чём-то хорошо известном им обоим, давно наскучившем и вроде даже лишнем.

– Наверно черкесы?

– Не только.

– Поляки?

– Может, и они, – пожал плечами Николай Павлович и равнодушно добавил: – Какой-то Центральный революционный комитет.

– И как же вы, – замялся Энгельгардт, – воспринимаете угрозы?

– Без тени страха или ужаса в лице, – нисколько не рисуясь, спокойно ответил Игнатъев. – Волков бояться – в лес не ходить. Это, во-первых. А во-вторых, – проговорил он следом, – не смерть страшна, а собственная трусость.

– А если угрозу исполнят?

– Значит, так тому и быть.

– Вы хладнокровны как великий человек! – воскликнул Владимир Егорович таким тоном, словно он был скульптор, загоревшийся желанием изваять в полный рост фигуру монстра, начисто лишённого вполне естественного для любого человека страха смерти. – Я поражаюсь вашей выдержке и мужеству.

– Благодарю за комплимент, – ответил на его слова Игнатъев. – Но моей заслуги в этом мало. На всё воля Божия. Это я к тому, что Господь всё устраивает лучше нас и на пользу нам. Не имей я своего подхода к решению Восточного вопроса, я не оказался бы здесь, в Константинополе, на переднем крае той борьбы, которую ведёт Россия с европейскими державами посредством чистой дипломатии.

– Иными словами, – медленно заговорил Энгельгардт, словно взбирался по довольно крутой лестнице, – не полюби Лермонтов Кавказ, не закали он себя в кровавых стычках с горцами, ещё неизвестно, развился бы его гений в той мере, в какой мы его представляем себе.

– Думаю, так, – сказал Николай Павлович, с радостью обнаруживая в Энгельгардте замечательную личность, наделённую острым умом и не обольщённую мелким тщеславием. – Чем дольше я живу, тем лучше понимаю: всё вокруг нас и мы сами составлены из противоречий, из противоположностей. Хорошее перемешано с дурным, приятное с горьким, поэтическое с голою прозой. Вот я, к примеру, люблю Тверь, считаю её своей родиной, хотя родился в Петербурге – на болоте.

– В Петербурге сейчас беспокойно, – по-своему истолковал его последние слова Владимир Егорович. – Все вновь ожидают поджогов, как это было три года назад.

– Я помню, – кивнул Николай Павлович. – Дышать было нечем. Особенно после того, как на пороховом складе случился пожар.

– А сейчас другой пожар может случиться, – мрачно сказал Энгельгардт. – Нигилисты поднимают голову. Всерьёз угрожают террором. Генерал-губернатору подкинули листовку, что до пятнадцатого марта поджоги будут продолжаться, несмотря ни на какие правительственные меры, а после пятнадцатого будут приняты «другие меры», если правительство «не обратумится» и не пойдёт им на уступки. Каково? – с гневным интересом вскинулся он в своём кресле. – И у нас полагают, что можно ещё управлять на старый лад, полумерами, ставя заплатки на старые дыры!

– Нет ничего хуже полумер, – после короткого раздумья проговорил Игнатъев. – Крепостное право отменили, а землю крестьянам не дали. Отец пишет, что о выкупе земли они и слышать не хотят. Оброков исправно не платят. Нашего соседа Вильепольского опять покушались убить; на этот раз отравленными патронами.

– А вы говорите «в деревню»! – покачал головой Владимир Егорович и огорчённо нахмурился. – Что за жизнь между такими разбойниками! Но с точки зрения доходности хозяйства, вы, конечно, правы: надо непременно жить в деревне. Постоянно.

– Иначе ничего не выйдет, – добавил Николай Павлович.

– Теперь правительству надо приняться за управление самым энергичным образом, – заметил Энгельгардт.

– Не столько энергичным, сколько единственно верным, – счёл нужным уточнить Игнатъев. – Иначе дело можно довести до торжества либерализма с его разворотом и смертоубийством.

– Вот будет ужас! – воскликнул Энгельгардт и как-то пугливо, по-бабьи, приложил к щекам ладони. – Не приведи Господь.

– Допустить разгул страстей в России – это всё равно, что проснуться в обнимку с разлагающимся трупом, – не боясь скомпрометировать себя цинично-мрачным предсказанием, более чем жёстко проговорил Николай Павлович.

Под утро буря унялась, и Владимир Егорович взошёл на борт «Тамани», направлявшейся в Одессу. Вместе с ним Игнатъев отправил большую пачку табаку, написав в приветной «грамотке», что сорт другой, но качество не хуже прежнего. Он знал, что для отца такой подарок лучше всякого письма. Сам Николай Павлович не курил и был доволен этим обстоятельством. Хватит с него секретарей-курильщиков. Когда бы в канцелярию ни заглянул, там – хоть топор вешай: синё от дыма.

Глава II

Январские балы закончились, но в свой приёмный день, в четверг, Игнатъев, как обычно, уделял время просителям и частным лицам, желавшим «личного общения» – по самым разным поводам. В посольстве настезь открывались двери, и всякий, с улицы, имел возможность повидаться с Николаем Павловичем, а то и прошение подать по сугубо сложным, «заковыристым» делам. Он вообще старался быть доступным, так как искренне считал, что лишь таким путём можно добиться нужных ему сведений. Вплоть до особых – секретных. Полковник Франкини сказал, что французские агенты используют фотоателье братьев Абдулла в своих конспиративных целях давно и, похоже, успешно.

– Мне хочется разворошить это гнездо, – честно признался он. – Орудуют под самым нашим носом.

Игнатъев понимающе кивнул.

– С этим мы всегда успеем. А пока отслеживайте всех, кто там бывает. Всех до одного. Может быть, выйдем на след Протокола.

Виктор Антонович прищёлкнул каблуками.

– Есть отслеживать.

Ему не надо было объяснять, что любое посольство, особенно посольство крупной европейской державы, это огромная лабораторная колба с перенасыщенным раствором отнюдь не хлористого натра или марганцовокислого калия, а раствор убийственно-опасный, сравнимый разве что с гремучей смесью белого фосфора и бертолетовой соли, раствор секретов и самых жгучих тайн. Это гигантский перегонный куб наиважнейших научных открытий, военных новинок и политических прогнозов, мало чем отличающихся иной раз от паранойяльных инсинуаций и шизофренического бреда. Вот почему первый секретарь, первый драгоман и первый шифровальщик чувствуют себя хозяевами положения. Конечно, и военный атташе очень крупная фигура, но не крупнее старшего советника, за которым и опыт, и вся агентурная сеть. Все члены миссии прошли строгий отбор и предельно-нагрузочный цикл индивидуальной подготовки, в корне отличающейся от той устаревшей системы «протежирования», которая и по сей день царит во многих министерствах и правительственных кабинетах.

«Казённый доктор» Меринг осмотрел Екатерину Леонидовну и сказал, что всё должно пройти без осложнений. Осталось подождать каких-то пять недель. «Теперь, если Бог даст другого ребёнка, – думал Игнатъев, – мы с Катей станем окончательными трусами: всё сторожить и бояться будем непрестанно».

После смерти сына он стал чувствительнее и сентиментальнее: со слезами часто не мог справиться, а ведь глаза ему ещё нужны – он завален срочными делами, иной раз – ни минуты свободного времени. На Балканах вновь – со всех сторон! – заваривалась каша, и ему приходилось расхлёбывать её без всякой приправы. Один в поле не воин, но он привык воевать в одиночку, когда все вокруг против него. Так было в Хиве и Бухаре, так было в Китае. Помня о том, что Кате ровно через пять недель предстояло мучительное испытание, он просил всех любящих его молиться за сохранение его милой, доброй, восхитительной подруги и их будущего малыша.

Жена была грустна и часто повторяла, что беспечная прелесть жизни для неё утрачена. На улицу она почти не выходила, предпочитая гулять на посольской террасе. Николай Павлович сопровождал её при первой же возможности.

С конца февраля начался Великий пост.

Екатерина Леонидовна отстояла исправно все службы, но в причастный день была сильно растрогана и много плакала: ей виделся в церкви облик покойного сына. Слезы обессилили её, она устала, и, придя домой, за чаем, горько сожалела о прошедшем годе, об ином настроении духа в их семье.

– Ничего, ничего, всё наладится, – утешающе сказал Николай Павлович, хотя у самого сердце замирало при мысли о тяжёлом дне. Он знал, что Катя хлопотала о детской коляске, писала в Одессу, посылала Анну Матвеевну по магазинам, но ничего пока не находила. Вот в какую глушь они заехали: детской коляски нет!

Глава III

В Константинополе пахло весной. На улице было тепло, земля прогрелась, радостно сияло солнце. По утрам в садах и скверах дружно щебетали птицы. Настроение у всех сразу улучшилось. Улучшилось оно и у Игнатъева.

Четырнадцатого марта, в ночь на воскресенье, когда часы пробили одну вторую часа пополудни, Екатерина Леонидовна благополучно родила сына. Как только раздался первый крик ребёнка, она радостно посмотрела на Игнатъева и тихим голосом произнесла.

– Господь снова дал нам сына!

– Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! – перекрестился Николай Павлович, и они вместе поблагодарили Господа за сына. Назвали его Леонидом.

Когда Катя благополучно разрешилась от бремени, на душе Игнатъева стало так радостно, так вольно, словно он птицей взлетел на коня и погнал его борзым налётом. Тогда же он подумал, что детей у них с Катей, как и во всех русских семьях, должно быть столько, чтобы дедушки и бабушки с радостью путались в именах своих внуков и правнуков. Господь даёт жито под людской посев. Не зря китайцы говорят: «В стране, где нет детей, не будет хлеба».

С рождением сына Екатерина Леонидовна поняла, что ничего ещё не кончено в её жизни, что истинное счастье материнства вновь примирило её с посольским бытом и константинопольской действительностью. Роды прошли благополучно, она чувствовала себя вполне здоровой, хотя на третий день немного познобило. Кормила она хорошо, молока было много, никакой боли не чувствовала.

– Я не подурнела? – спрашивала она Николая Павловича, всё чаще требуя подать ей зеркало и гребень.

– Ни на йоту! – отвечал он, искренно любясь ею. – Ты, как всегда, обворожительно мила.

В его груди поднималась волна счастья. Он испытывал к жене ни с чем не сравнимую нежность, глубокую, как тайна жизни, и бесконечную, как сама жизнь. В самом деле, воистину так: любовь, как и вера, пустой звук, пока сам не полюбишь и не уверуешь. А ещё ему открылось, как Всевышний обращает немощь в силу, печаль – в радость!

Он не мог оторвать глаз от своей ненаглядной подруги.

Нет прекраснее улыбки, чем улыбка сквозь слёзы. Слёзы счастья, восторга и нежности. И эта чудная, прекрасная, счастливая улыбка оживляла его Катю, когда маленький Леонид лежал у её груди. Она была очень довольна, что Господь даёт ей радость быть кормилицей.

Глаза её сияли.

– Наш Леонид на Сретенье родился. В святой день.

– Все чудеса проходят по Юлианскому календарю, – сказал Николай Павлович. – Это давно замечено отцами церкви. Юлианский календарь это икона, которая освящена Христом.

– Мне кажется, нет чуда большего, нежели рождение детей. Я так себе и говорю: «Это чудо, что я родилась! Это чудо, что я родила! Мне так теперь хочется жить»!

Покормив и убаюкав сына на ночь, она легла в постель и тесно прижалась к нему.

– Если бы ты знал, какое это счастье ощущать себя любимой и любить!

– Я так же счастлив, как и ты, – проговорил он жарким шёпотом. – Ты не представляешь, что ты значишь для меня.

– Ты должен знать, что я тебе скажу, – она погладила его плечо, приподнялась на локте. – Ты не представляешь, какое это чудо – засыпать, прижавшись к тебе телом, ощущать твои ладони на своей груди. – Немного помолчав, она сказала. – Спасибо, что ты есть. Люблю тебя. Люблю. – У неё перехватило дыхание, и он чуть не заплакал, ощутив, как по её щекам стекают слёзы.

Идеал всегда жертвенен. Преданная, любящая женщина, а ни в коей мере не ревнивая любовница – вот мужской идеал на протяжении тысячелетий. Только жертвенной слабости он и готов покориться, завоевав женское сердце. Его Катя – настоящий идеал. . . И не потому, что тонкоброва, синеглаза, и грудь высокая, и талией – оса. Она – само доброжелательство и целомудрие. Возможно, что и он, посланник русского царя при Порте оттоманской Николай Павлович Игнатъев не столь уж плохой человек, если Господь дал ему в спутницы жизни жену, сочетающую в себе земную красоту и неземное величие. Думать так и лестно и приятно, но, может, в этом кроется самообман? А что, как он всего лишь ловкий оболъститель? Ведь дипломат просто обязан оболъщать и увлекать, и очаровывать. Кто не способен оболъщать, тот вынужден интриговать и тратить много сил на убеждения. Искусство дипломатии – высокое искусство, но как же оно низко по сравнению с поэзией, которая не терпит фальши! Подумав так, Игнатъев углубился в размышления. «Что ценит девушка в мужчине? – спрашивал он мысленно себя, и тут же отвечал, ничуть не сомневаясь: – Благородство! – А что мужчина ценит в девушке? Ответ известен: – Целомудрие!» Без целомудрия нет ничего: ни добрых отношений, ни любви, ни осознания святости семьи. Оно одно делает слепое человеческое сердце зрячим. Хотя, опять же, ничто так не влияет на любовь, как условия и обстоятельства жизни. А каковы условия и обстоятельства его посольской службы, трудной и праздной, разносторонней и однообразной, прекрасно энергичной и до зевоты скучной? С кем он встречается, что характерно для тех, с кем он вынужден общаться? Встречается он с множеством людей, как необычных, так и заурядных. Одних отличает сварливость, других скупость или мотовство. Но все они эгоистичны до мозга костей, все способны на мелкие пакости, интриги и доносы. В крови этих людей, словно крупинки соли, растворены алчность и злоба, властолюбие, тщеславие и подлость. У одних характер мягкий, у других оскорбительно грубый. Всем им известен деспотизм социальных претензий. Каждым помыкает честолюбие: диктует, понукает, держит в железной узде. Мало кто из них понимает, что там, где тишина, там святость. Да и откуда возьмётся это понимание, если за большинством из них, словно водоросли за рыбацкой сетью, тянутся подстроенные убийства, исчезновение свидетелей, появление лжеочевидцев. Безудержная клевета и подмётные письма. Извращения и жажда наслаждений. На их лицах, как тавро душевной гнили, лежит толстый слой самодовольства; их удел – авантюризм чистой воды. Многие крепко усвоили, что в разговоре с англичанином нужно хвалить Шекспира, а с французом – Лабрюй-

ера, знатока книг и человеческих характеров. А ещё у них на лбу написано, что «цель оправдывает средства». Им наплевать, что праздная страсть губительна и что им в затылок дышит смерть, зато они знают слабые и сильные стороны друг друга, являясь мастерами политических метаморфоз, ничуть не хуже тех, что описал когда-то Апулей в своей сатире «Золотой осёл». Хотя, конечно же, встречаются и те, кого завидно отличают ясный ум, глубина познаний и верность оценок той или иной дипломатической загвоздки. Им не свойственна привычка поучать, к месту и не к месту попрекая людей в глупости; в их беседах нет высокоумия, но, общаясь с ними, Николай Павлович не раз убеждался, что там, где сила духа, там стойкость и несокрушимость. Кто-то ему сказал, что в сэре Генри Бульвере лорда ровно столько, сколько нужно для его лакеев. «А может быть, для самого Бульвера?» – подумал он тогда. А взять маркиза де Мустье с его любимой присказкой: «Моя душа чурается славян». Французский дипломат больше всего любил балет и был без ума от театра.

– Не будь я потомственным аристократом, право слово, с удовольствием бы стал актёром, – не раз говорил он Игнатъеву. – Низость поднимает высоко. Моя истинная страсть направлена на то, чтобы изображать на сцене чуждую мне жизнь, которую Вы вправе презирать. Впрочем, переживать злословие, чревоугодие и сытость я могу и так, без театральных подмостков, находясь в ранге королевского посланника, который с каждым годом всё острее сознаёт, что жизнь лепит нас под самоё себя, чтобы затем освободить нас от своей опеки. Грустно...

Вот каково, по сути дела, окружение Николая Павловича, та «ярмарка тщеславия», в пёстрой толпе которой можно увидеть и его физиогномию. Ведь он по сану – человек публичный. Иными словами, кто тебя окружает, таков ты и сам. Люди, словно зеркала, отражают друг друга. Но есть ведь и кривые зеркала, пугался он своих полночных мыслей. Особо много их в политике. Увы! И в русской тоже. Патриоты выглядят как прокажённые в глазах космополитов, ибо народоправие, самодержавие под гнётом банковского капитала перерождается в абсурд. В сплошное лицемерие и всеми видимый обман. Ложь подменяет всё и вся, так как «избранникам» народа нужна власть, а не народ. Вседозволенность и безответственность. Одна надежда, что «...и последние станут первыми».

Европе не дано понять, что русский человек – споручник государства, а никакой не гражданин. Граждане бывают у республик, а Россия никакая не республика. Она империя – и точка. Республики принадлежат людям, а Россия – Господу Богу нашему Иисусу Христу. Вот, почему исконно русский человек, по сути дела, не философ. Он мудрец. А мудрость почитается народами всех рас и всех религий. Как воздух, как вода, как сама жизнь. В отличие от глупости, которая не замечает своих свойств, зато калечит всё, что кажется ей вздорным и враждебно непонятным. Не чуя самоё себя, она готова проломить череп любому, кто имеет нечто, отличное от неё. Но более всего она не терпит силу мысли, силу духа, точно так же, как мелкий чинуша, какой-нибудь уездный стрекулист, ненавидит всякого, в ком видит дельную и честную натуру. Это она, глупость, устами либералов утверждает, что смерть монархов и «гражданские свободы» – верное лекарство от предубеждения «неразвитых» умов. Это они, либералы, готовы заявить во всеуслышание о господстве мёртвых над живыми, подменяя социальные просчёты мнимой проблемой отцов и детей. Пытаясь разорвать связь поколений и тем самым нанести урон общественной морали, им нужно ввергнуть в хаос русское самосознание с его извечной тягой к традиционному мироустройству в границах российской империи с её престолом, державой и скипетром. Норовя украсть у народа его историческую и религиозную память, господа марксисты (с бомбой под полкой и револьвером под мышкой) лицемерно рассуждают о всеобщем равенстве и братстве как незыблемой основе человеческого счастья, напрочь забывая слова Библии: «Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Так о каком «земном рае», о какой социальной справедливости» может идти речь, если люди,

ублажая тело, разучились говорить с Творцом? Счастье – это когда мы ощущаем себя частью Бога, а Рай – это неведение зла. Он остался у младенцев, да, может, ещё у ягнят.

Игнатъев хотел спать, глаза его слипались, но мысли текли и текли, и он никак не мог избавиться от них: перегородить русло. Не зря говорят, что настоящий дипломат должен работать двадцать четыре часа в сутки, так как всегда найдётся тот, кто предпочтёт работать больше. Этому он научился у британцев. Те – служаки прирождённые, как и саксонцы, перебравшиеся в Англию. И точно так же, как британцы, он никогда не терял головы, хотя натура у него излишне пылкая. В этом легко убедился полковник Франкини, занимавшийся «в свободное от работы время» поиском армянского Протокола.

– Ваше высокопревосходительство, – поинтересовался он два дня назад, плотно прикрывая за собою дверь игнатъевского кабинета, – скажите, что мне делать, если за этот тайный документ с нами поведут открытую войну?

– Даже если мы получим по зубам, ударом на удар не отвечайте, – после короткого раздумья ответил на его вопрос Николай Павлович.

– Стало быть, махнём рукой?

– Нет, не махнём. Отступим.

Виктор Антонович понял его. Как разведчик он знал: даже если слежки нет, следы нужно запутать. Запутать так, чтоб никакой ищейке не увязаться за ним. Не унюхать. Да и вообще, если кур и цыплят крадут совы, их лучше содержать под сеткой.

Глава IV

Изучая донесения консулов и беседуя с послами великих держав, Николай Павлович понял, что Европа стоит на пороге больших потрясений. Пруссия готова была всыпать Австрии по первое число. В любой момент, лишь бы нашёлся повод. Вы спросите, за что? А просто так. Порядка для. Уж больно кулаки чесались. Глядя на Пруссию, ощерившую свои жёлтые клыки в виде железных дивизий и крупповских пушек, способных взламывать любую оборону, Франция спешно принялась укреплять свои границы. Русская разведка тоже не дремала, плела агентурную сеть. Её резиденты делали всё, чтобы добраться до чужих секретов и не подпустить к своим. Вот и перед Игнатъевым вопросы вставали один за другим: что делать? К чему приглядеться? Как направить события в нужное русло? К тому же, он почувствовал, что стал противником войны. Всё, что угодно, только не война. Ну, а если воевать, то драться до последней капли крови, побеждать – во что бы то ни стало.

Когда он подъехал к дворцу падишаха, там уже было много карет и экипажей. Главный везир Мехмед Емин Аали-паша встретил его с улыбкой на строгом холёном лице.

– Владыка Порты ждёт вас.

– Как он сегодня настроен? – первым делом поинтересовался Николай Павлович, причудливый к тому, что правитель Османской империи мог быть и злым, и мрачным, и каким угодно: надменным, хитрым, угрожающе-гневливым. Сам же Игнатъев чаще всего выглядел весёлым, бодрым, добродушным, хорошо помня о том, что «умный примиряет, глупый ссорится».

– Незлобиво, – сообщил Аали-паша.

Так оно и оказалось. После взаимного приветствия, Абдул-Азис первым делом поздравил Николая Павловича с рождением сына и представил ему своего – Изеддина, которого страстно желал сделать падишахом в обход остальных претендентов, нарушив тем самым закон Порты о престолонаследии.

Игнатъев пообещал организовать личную встречу двух императоров: Абдул-Азиса и Александра II, на которой они смогли бы спокойно обсудить данный вопрос в самой строжайшей тайне.

– Вы полагаете, что вам удастся это сделать? – засомневался падишах, приобняв за плечи Изеддина.

– Полагаю, – вполне убеждённо сказал Николай Павлович. – Мой агент в Китае говаривал так: «Если есть решимость разбить камень, он сам даст трещину».

Повелитель турок очень был доволен данным ему обещанием и, приосанившись, сказал:

– Господин посол, Россия видится мне не иначе, как в образе вашей восхитительной жены. Прошу передать ей это слово в слово.

– Непременно, – ответил Николай Павлович, заверив Абдул-Азиса в том, что ему, посланнику России, очень лестно слышать подобные речи.

Затем падишах поздравил Игнатъева с предстоящей православной Пасхой, пожелав ему и членам русского посольства всех благ и промыслительной воли Всевышнего.

– Кто к Богу пришёл, тот и счастлив, – поддерживая разговор, сказал Николай Павлович и самым искренним образом поблагодарил Абдул-Азиса за его благие пожелания. – Наша Пасха – это весна человечества. Как весна, в отличие от осени, пробуждает в людях светлые мечты, а солнечный свет дарит различным предметам форму и объём, так Воскресение Христово дарит православным людям чувство жизни во всей его чудесной полноте.

Затем они заговорили о турецких реформах, начатых ещё Абдул-Меджидом и осуществляемых теперь Абдул-Азисом. Падишах был настолько расположен к беседе, что настоятельно просил не стесняться его обществом и непременно говорить всё, что он думает о государственном устройстве Турции.

– В разговоре с вами, глубокоуважаемый посол, я всегда чувствую, что не буду обманут или же разочарован.

– Ваше величество, – почтительно заговорил Игнатъев, – чтобы не говорить лишнего, я постараюсь сказать главное: при коренных реформах кризис неизбежен. А что касается устройства Турции... Вы человек умный и, разумеется, знаете, что в мире всё условно и неоднозначно. Безусловна лишь милость Творца. Как не существует лекарства от всех болезней, так нет и единой методы для управления империей. Та, что была хороша для язычников древнего Рима, крепила их могущество и позволяла утеснять соседей, становилась никуда не годной там, где к власти приходили христиане или мусульмане.

– Странно, – повёл головой падишах. – Почему именно так? Ведь все великие державы с их монархами разительно похожи друг на друга.

– Внешне да, – сказал Николай Павлович, – но потаённо, сокровенно, между ними большое различие.

– В чём же оно состоит? – спросил Абдул-Азис, слегка приподнимая бровь.

– Разница, я думаю, состоит в том, что одна система власти держится на подавлении собственного народа, а другая – на любви к нему. Пусть строгой, но любви.

Абдул-Азис задумался. Потом сказал с досадой в голосе:

– Меня с детства приучали к мысли, что для монарха нет большего врага, нежели его собственный народ, и победа над ним всегда доставляет ему особое удовольствие, по значимости своей намного превосходящее все иные наслаждения и оставляющее далеко позади себя даже такое помпезное действо, как празднование триумфа.

– По случаю полной победы в войне? – спросил Игнатъев, понимая, что большего триумфа просто не бывает.

– Да, – утвердительно сказал Абдул-Азис. – По случаю полного разгрома объединённых сил воинственных соседей, решившихся захватить страну, а самого правителя, понятно, обезглавить.

Николай Павлович вздохнул.

– Когда человек стоит перед выбором собственной выгоды или же истины, он всегда выбирает первое. Так он признаёт за собой смертный грех. Другими словами, любя себя на

троне, самодержец приближает свою смерть. Я уже не говорю о том, что многие монархи слишком затемняют собственным величием исторические горизонты нации. Свет абсолютизма должен проникать в умы и души подданных. Иначе власть в стране достанется мерзавцам.

– Никто и никогда не говорил со мной столь откровенно! – признался падишах с горящим взором. – Мне многое становится понятно.

– Главное, не забывайте: «Власть – женщина и смерть – женщина, и жёны в створе между собой».

– Я это чувствую! – сказал Абдул-Азис и вновь заговорил о том, о чём уже однажды говорил. – Я ношу одежды, расшитые золотом, ем самую вкусную пищу, люблю и наслаждаюсь ласками красавиц, и чувствую, как приближаюсь к смерти. Погибаю каждый день и час! – Он даже зубами скрипнул от досады. – Подыхаю!

– Все мы смертны, – не желая увязать в неприятной для него беседе, ответил Игнатъев. – Мы уйдём, придут другие. Смерть – всего лишь навсегда преграда, переход от жизни краткой к вечной.

– Не хочу! – взвыл падишах, как от зубной боли. – Я не хочу об этом слышать. Все говорят о рае, но никто там не был.

– Таково устройство мира, – сказал Николай Павлович и слегка пожал плечами. – Источник долголетия не здесь, а там, – он указал на небо. – Значит, там мы его и найдём.

– Если грехи позволят, – мрачно уточнил Абдул-Азис.

Желая сменить тему разговора, Игнатъев опустил глаза, как бы соглашаясь с небезызвестной оговоркой, а, когда поднял их, то сообщил о том, что ревнивый к чужим успехам английский посланник сэр Бульвер не может простить Абдул-Азису того, что он благоволит русскому послу и собирается осуществлять реформы под его диктовку.

– Лорд Литтон на всех углах кричит о том, что деньги на постройку броненосцев Абдул-Азис занял у неё, у сердобольной доверчивой Англии, которая, конечно же, сумеет отомстить за «вероломство». А я, ваше величество, хочу сказать, что Англии нужна узда. Она отвыкла от неё и распоясалась. Именно в этом её основное отличие от Франции, Турции или России.

Приступив к обязанностям русского посланника в Константинополе, Николай Павлович довольно скоро убедился, что английский парламент столь недвусмысленно обхаживал блистательную Порту, шаря у неё под юбкой, что она сама уже не знала, как ей унять свою разыгравшуюся чувственность. Буйство похоти, в особенности твёрдо ощутимой, невольно увлекает зрелых дам. А тут ещё и «европейский концерт», насквозь проникнутый духом цыганщины, нахально пристаёт: «Дай... погадаю», норовя запечатать уста неизъяснимо сладким поцелуем. Да и «Союз трёх императоров» – сказать по совести, бесстыдно проявляет свою страсть, выкалывает «бешенство желаний», настырно тиская грудастую, сомлевшую до слабости в коленях Турцию.

Глаза Абдул-Азиса помрачнели ещё больше.

– Может быть, это и так, но Англия добра ко мне без меры. Другой вопрос, что надо срочно погашать кредиты. Я откровенно не знаю, что нужно предпринять для наполнения казны?

Думая о том, что самодержец без Бога в душе – мироед, и никакие способы обогащения не принесут желанного достатка его подданным, Николай Павлович сказал, что есть старое, испытанное правило.

– Когда денежных средств и материальных ресурсов становится меньше, правительство резко сокращает расходы на содержание чиновничьего аппарата, а налогов с населения взимает больше, перекладывая на его плечи всё, что только можно. Я прекрасно сознаю, что вашему правительству придётся прибегнуть к этой, далеко не популярной, практике, – он слегка развёл руками. – Не популярно, зато эффективно. Правда, я должен сказать, что долго так продолжаться не может. Это политика провала. Национальной катастрофы. Нельзя столь беззастен-

чиво, наглядно обирать своих граждан и каждую дыру в бюджете латать за счёт их мизерных доходов.

– Великий везир утверждает, что в Европе налоги не меньше. Особенно, в Англии.

– Но там и доходы в пять раз выше, – возразил Игнатъев, неплохо знавший экономику развитых стран, благодаря своим беседам с бароном Редфильдом. – Мало того, пока не будут наказаны люди, которые участвуют в разграблении бюджетных средств на самом высоком уровне, быстрого выхода из кризиса ждать не приходится. Вам ли не ведать: кто у денег, тот и вор? Вам ли не помнить: кто руководит, тот и от рук отбивается?

– Я введу закон о казнокрадстве, волокитстве и бездействии! – решительно сказал Абдул-Азис. – Я не позволю разрушать страну.

– Мало знать закон, когда необходимо следовать ему. Вам надо защищаться.

– От кого?

– Прежде всего, от внутренних врагов.

– От греков и болгар?

– Отнюдь, ваше величество. Вам надо защищаться от бесчестных губернаторов, продажных судей и политиканов.

– Мечтающих о конституции, гражданских правах и свободах? – злобно ухмыльнулся падишах, словно всех его врагов уже вели на казнь.

– Но не репрессиями, – предупредил его Николай Павлович, – а новыми рабочими местами, прибыльными производствами и достойными условиями жизни ваших подданных, законопослушных налогоплательщиков. Они ваша опора и защита. Иной опоры и защиты быть не может.

На следующий день он побывал на конном рынке и купил себе славную арабскую лошадь, светло-серую с крапинами, чрезвычайно напоминающую экстерьером его чертолинского Донца – хоть в гусарский полк определяй.

– Теперь приищи лошадь для меня, – сказала Екатерина Леонидовна, предвкушая удовольствие верховой езды. – Я непременно хочу ездить летом.

Её желание было понятно. Иной способ кататься в Стамбуле и в Буюкдере был просто невозможен. Мостовые находились в безобразном состоянии, а спуски зачастую ужасали.

В субботу отец Антонин крестил маленького Леонида. Записали и провозгласили преемником деда Павла Николаевича Игнатъева, тётушку Марию (настоятельницу Тверского женского монастыря) и Екатерину Матвеевну Толстую (сестру Анны Матвеевны) – никто не остался в обиде. Павла Николаевича замещал первый секретарь посольства Кериани. Присутствовали только сотрудники: члены миссии и драгомань.

Леонид вёл себя хорошо и даже не пискнул, только тельцем был худ и выглядел слабым. Акушерка сказала, что по складкам кожи его очень заметно, что он в последние два месяца (после кончины Павла) истощал в материнской утробе. Оттого и жёлт донельзя. Екатерина Леонидовна была в отчаянии: она кормила Леонида часто, а он плохо набирал в весе.

– Зачем ты его кормишь столь усердно? Иной день каждый час? – недоумевал Игнатъев, видя чрезмерные старания жены и её излишнюю, как он считал, заботу о малютке. – Лишнее он всё равно срыгнёт, да и живот может сорвать. Понос начнётся.

То же самое говорила нянюшка, пытаясь урезонить Екатерину Леонидовну. Пробуя свеженное молоко, она не могла нахвалиться его вкусом.

– Молоко лучше несравненно, нежели у петербургской кормилицы Павла.

Все находили, что у Леонида большие и красивые глаза – от матери, а вот нос – явно отцовский, «утиный».

После обряда крещения секретарь Стааль, ещё недавно бывший дипкурьером и в короткое время, подобно драгоману Ону, ставший надёжнейшим помощником Игнатъева, сообщил Николаю Павловичу, что поляки снова поднимают головы.

– Ляхи всю интригуют, кучкуются, чего-то выжидают.

Глава V

Второго июня, в день четырёхлетия свадьбы, Игнатъев подарил жене арабскую лошадь, которую Екатерина Леонидовна сочла излишне смиренной.

– Пока ты кормишь, лучше ездить на такой, – заботливо сказал Николай Павлович. – Потом, даст Бог, прикупим резвую.

– Ты прав, – ответила Екатерина Леонидовна, поблагодарив его за чудесный «презент», о котором мечтала с зимы. – У меня теперь одна мысль, одна забота – сберечь молоко и хорошенько выкормить Лёню.

В тот день, когда они приехали в Буюкдере семейно, она в первый раз побывала на могилке Павла и отлично справилась с собой: не разрыдалась, не упала в обморок, хотя и слёз, конечно, не скрывала. На следующее утро Игнатъев нашёл её в саду, на верхней террасе, перед склепом. Она сидела на скамейке и кормила Леонида. Кормила и ласкала живого, а думала об отошедшем, глядя на его могилку. Вскоре верхняя терраса посольского сада стала местом их любимых семейных прогулок.

«Вот, – умиленно подумал Николай Павлович, – сюжет живописной картины или же стихотворения».

Найдя Катю перед склепом, он вначале побоялся, что подобное соседство слишком возбуждает её чувствительность, но она, тихонечко поплакав, улыбнулась.

– Теперь, – заверила его Екатерина Леонидовна, – когда я снова чувствую себя счастливой матерью, вид могилки меня утешает.

Спустя три недели русский священный Синод произвёл своеобразную «рокировку». Настоятель посольских церквей в Буюкдере и в Пере, архимандрит Антонин (Капустин), был направлен в Иерусалим главой тамошней Духовной миссии, а её бывший пастырь отец Леонид (Кавелин), занял его место.

Высокий, статный, с красивой большой бородой, он вызвал у Николая Павловича двойственное чувство: уважения, как к бывшему военному, и неприятия, как к человеку вздорному.

Недели через две, в первой декаде августа, когда солнце палило до четырёх часов полудни самым нещадным образом, а море, как всегда в такую пору, сверкало, зыбило, играло блёстким светом, из отпуска вернулся секретарь Стааль – окрепший и повеселевший. На нём были модные светлые брюки и белоснежная фасонная сорочка. Первым делом он спросил, нет ли холеры в Константинополе?

– Газеты писали, что болезнь свирепствует в Мекке, Египте и в Александрии. А как дела обстоят здесь?

– Медицинский совет решил оставить карантин для судов из Египта и Сирии, – ответил на его вопрос Николай Павлович, сам теперь носивший лёгкое штатское платье. – Карантин для судов, идущих из Босфора, уже снят. Живём, как жили, только пока не купаемся.

– Понятно, – ответил Стааль и тут же задался вопросом. – А какова здесь политическая атмосфера?

– Политическая? – несколько задумался Игнатъев. – Можно сказать, предгрозовая. Пока меня берегут, потому что я изрядно огрызаюсь, но рано или поздно и мне шею свернут придворные угодники. Благотворители поляков уже давно на меня скалят зубы, ибо я ляхов отсюда крепко доезжаю. Помимо этого, до меня дошли слухи, что все мои стамбульские коллеги будут вскоре сменены.

– Что, и сэра Бульвера отправят восвояси? – не поверил секретарь, будучи твёрдо уверенным в том, что этот умный, ловкий дипломат ещё не скоро покинет свой пост.

– Можете себе представить. Сэра Бульвера заменят молодым лордом Лайонсом. Но, может быть, и кем-нибудь другим. Так что и английский, и французский, и даже австрийский мой товарищ будут сменены.

– Едва ли мы выиграем, – засомневался Стааль, услышав эту новость.

– Во всяком случае, придётся новые знакомства заводить, устанавливая новые связи.

– Обидно.

– Конечно, – согласился с ним Игнатъев. – Тем паче, что поляки вновь засумутились. Я на днях отправил в Петербург со своим человеком секретные сведения, добытые от почтовых чиновников, тех же самых ляхов.

– Всё никак не успокоятся?

– Напротив. Снова затевают бучу.

– А в министерстве, я уверен, полагают, что мы здесь пятки на солнышке греем, – усмехнулся секретарь.

Николай Павлович согласно промолчал.

Вечером, в кругу своей семьи, когда Екатерина Леонидовна вновь заговорила о посольских чинах и отличиях, он сказал, странно волнуясь:

– Памятуя о том, что после предыдущей ленты должно пройти, как минимум, два с половиной года, меня произведут в генерал-лейтенанты тридцатого августа, в день тезоименитства Его Императорского Величества. То есть дадут то, о чём хлопотал граф Муравьев-Амурский сразу же после Пекина. Но, – упреждающе замедлил свою речь, Николай Павлович, – не велика беда, если и на этот раз обойдут чином. Ты ведь знаешь, чем я дорожу на самом деле. Я дорожу семейным счастьем, своим служебным положением, Отечеством, которому служу. Всё остальное суета сует и суета всяческая. – Помолчав, он продолжил с усмешкой: – Барон Будберг дал о себе знать: повёл на меня атаку.

– Ты не говорил, – встревожилась Екатерина Леонидовна, принимавшая обычно близко к сердцу служебные неурядицы мужа. – Интересно, чем ты провинился перед ним?

– Он злится на меня за моё противодействие французам, – стал объяснять Игнатъев. – Ему хотелось бы приятно жить в Париже и встречать в Тюильри одни лишь улыбки. – Слегка нахмурившись и недовольно встряхнув головой, Николай Павлович продолжил:

– До чего же быстро, удивительно легко поддаёмся мы воздействию окружающей среды!

– Ты как-то говорил, что барон Будберг интригует против нашего министра, – блеснула своей памятью Екатерина Леонидовна.

– Будберг просто ненавидит Горчакова! – воскликнул Николай Павлович. – На моем горбу хотел бы въехать в рай.

– Только не связывайся с ним, – предупредила жена. – Пусть его злится, коли злоба душит.

– Не бойся, Катенька, я никому не дамся в перепалку. Да у меня и времени на это нет, – сказал Игнатъев.

Глава VI

Четвёртого сентября, в хмурый дождливый день (с неба лило вторые сутки), от князя Горчакова пришла телеграмма, в которой светлейший известил Игнатъева о его производстве в генерал-лейтенанты. Весть о том, что Николаю Павловичу присвоено не просто очередное, а высочайшее воинское звание, вызвало бурный восторг у его сослуживцев. Его принялись качать и поздравлять, и намекать на угощение с вином.

При получении известия одна мысль родилась одновременно у него и у жены, одна и та же фраза вырвалась:

– Отец теперь будет доволен!

А сам Игнатъев был доволен ещё и тем, что в одном с ним приказе значилось имя его брата Алексея, произведённого в обер-офицерский чин и награждённого орденом св. Анны, которого в своё время был удостоен и он сам. Успехам младших братьев он всегда радовался больше, чем своим. Алексей уже командовал гусарским эскадром, а Павел учился в Паже-ском корпусе.

К обеду Николай Павлович отправился в «большом параде», как привыкли говорить в Константинополе. Затем у него был «вход» с принятием поздравлений от архимандрита Леонида, церковного клира и сотрудников посольства, затем обед на пятьдесят персон.

Вечером устроили иллюминацию и фейерверк.

Игнатъеву припомнился Пекин. Тогда, после подписания Айгунского трактата, радости в его душе было намного больше. И объяснение этому факту у него имелось. Он прекрасно понимал, что единственным результатом его повышения будет возбуждение завистников, составленных большей частью из лежебок.

Когда церковный хор пел ему «Многая лета», он себя ощущал преждевременным старцем.

На всё Промысел Божий, нас охраняющий!

Живое доказательство милости Всевышнего Николай Павлович и Екатерина Леонидовна вскоре испытали на себе. Дело обстояло так: после долгих проливных дождей, когда в комнатах похолодало, в детской, во время купания Лёни, в первый раз затопили камин. Огонь потух в шесть часов вечера. Во втором часу ночи няньке показалось, что малыш зовёт её, проснувшись для кормления. Встав от глубокого сна, она заметила, что детская наполняется дымом и пахнет горелым. Она инстинктивно вылила воду из рукомойника в камин и увидела, что под накалён и что вода кипит. Она тотчас подхватила на руки ребёнка, разбудила Екатерину Леонидовну и отдала ей сына. Игнатъев кликнул Дмитрия, велел позвать истопника: ломать камин.

– Стену нарушим, – предупредил истопник, решительно нацеливая лом. – До потолка развалим, как пить дать.

– Шут с нею, со стеной! – скомандовал Николай Павлович. – Крушите!

Это их всех и спасло. Как только отбили два-три кирпича, сразу показалось пламя – горела балка межэтажной перемычки.

Её стали заливать водой и с трудом выламывать вторую, тлевшую в течение почти семи часов и так же готовую вспыхнуть.

В три часа опасность миновала.

Игнатъев перенёс кроватку Лени в соседнюю комнату, отмылся от сажи и копоти, и с ужасом подумал, что ещё бы каких-нибудь четверть часа, и запылали бы снаружи, лежащие между двумя полами, балки. Дом бы вспыхнул, как порох. Позже выяснилось, что во всём летнем дворце, везде, как и в детской, кирпичный под камин положен прямо на дерево, без охранительной прокладки.

– Что с них возьмёшь, с басурманей? – возмущался Дмитрий. – Камини строить не умеют, а туда же! Куда конь с копытом...

«Поистине Ангел Хранитель всех нас уберёт», – перекрестился Николай Павлович и, глянув на часы, лёг досыпать. Утром он подумал о том, что несмотря на чудную июльскую погоду, дня через два надо будет перебираться в город, так как осенние дожди обычно начинаются внезапно и продолжаются до пятнадцати дней кряду. А ещё озаботился тем, что нужно добыть несгораемый сейф: бумаги хранятся в обычном, еле запирающемся шкафе, ключ от которого у него постоянно в кармане, а ночью – неизменно – под подушкой. Не дай Бог пожара! При разбросанности документов беду можно нажать большую. Но, как это всегда и бывает, чего боишься, то и происходит. Через неделю запылал Стамбул. Старожилы утверждали, что таких пожаров не было лет сорок. Кое-кто из европейских дипломатов ездил поглазеть, но русского посланника среди них не было.

– Во-первых, – объяснял Николай Павлович лорду Литтону своё отсутствие в толпе зевак, – я не охотник созерцать чужое горе. Я и в России не находил ничего интересного в разбойничьем неистовстве огня. А во-вторых, – сказал он, уточняя, – достоинство не позволяет. Я ведь не пещерный житель, чтоб смотреть на пламя, как на божество.

Лорд Литтон, готовясь в отъезду, продал Николаю Павловичу верховую лошадь из своей конюшни, оказавшуюся горячее прежних, и доверительно сказал, что за годы своей службы в Турции сумел скопить пятнадцать тысяч фунтов стерлингов (девяносто тысяч рублей серебром).

– Как видите, – сказал он с грустью, – моя жизнь не лучше вашей. Я уже молчу о том, что оставляю здесь долги.

– А я, – сказал Игнатъев сокрушённо, – оставляю последние силы, воюя с фальшивомонетчиками и их нелегальной продукцией, в основном, русскими пятидесятирублёвыми банкнотами. Такая ловкая подделка, что сразу и не разберёшь. Бумага, правда, чуточку шершавей.

Англичанин хмыкнул.

– Не волнуйтесь. В Лондоне фальшивых ассигнаций тоже много.

После того как сэру Бульверу пришлось уныло запахнуть пальто, прощально взмахнуть шляпой и навсегда уехать в Лондон, Николай Павлович дважды свиделся с новым английским послом Ричардом Лайонсом, старшим сыном лорда Эдмунда Лайонса, адмирала британского флота, бравшего когда-то Керчь.

«Авось, сойдёмся», – решил Игнатъев про себя, сочтя сорокавосемилетнего дипломата вполне любезным человеком, склонным помогать французам. Несмотря на то, что англичанин на первый взгляд казался тугодумом, его безукоризненно построенные фразы напоминали протяжные балетные прыжки, как бы надолго зависающие в воздухе.

– Я и не ожидал, что наш новый товарищ так хорошо говорит по-французски, – сказал Николай Павлович маркизу де Мустье на обеде у великого везира, и тот надменно усмехнулся.

– Оно и понятно, коллега. Его отец в Афинах показал себя противником Наполеона III и был удалён по представлению тогдашнего английского посла.

– Урок серьёзный.

– Вы его тоже учтите, – всё с той же миной превосходства предупредил Игнатъева француз.

Откровенно и без обиняков.

В последних числах октября в Адрианополе турецкими драгунами – поляками был публично оскорблён русский консул Золотарёв со своей молодой женою. Золотарёв потребовал у генерал-губернатора удовлетворения и наказания развязных офицеров. Турок замешкался, и Золотарёв спустил флаг, прервав с местными властями всякие сношения.

Игнатъеву пришлось срочно вмешаться. Он встретился с великим везиром и вытребовал полного удовлетворения.

– Что делать, – театрально разводил руками Аали-паша, повинно клоня голову, – поляки становятся наглыми. Им покровительствует Франция, а с нею – вся Европа.

Второго ноября, в день, когда пять лет тому назад Игнатъев подписал знаменитый Пекинский трактат – плод продолжительного, напряжённого усилия, упорной и тяжёлой думы, он доверительно сказал полковнику Франкини:

– Бог весть, придётся ли мне ещё когда-нибудь ознаменовать жизнь и деятельность свою столь же осязательным актом, утверждённым моей подписью и нашей имперской печатью.

– Я полагаю, – выслушав его, сказал Виктор Антонович, – деятельности здесь не меньше, причём, весьма разнообразной! И если вам дадут осуществить свою программу, вы утвердите ещё много актов. Исторически и политически значимых.

– Дай-то Бог! – вздохнул Игнатъев и откровенно посетовал, что Стремоухов рвёт и мечет на него. – Он исступлённо не доволен мною. А всё из-за того, что я не разделяю его крайних

увлечений в армянском вопросе, и предупредил МИД, что в будущем мы будем иметь от них много хлопот.

– Я вот-вот добуду Протокол, – пообещал ему полковник. – Думаю, тогда вам будет легче объясняться с министерством.

– Очень надеюсь, – сказал Николай Павлович, прекрасно понимая, что раздобыть секретный документ – не гриб на вилку наколоть. – Но Протокол сейчас не столь и важен. Я уже примерно знаю, о чём идёт там речь. Беда состоит в том, что выходцы из наших армян, бывших большей частью учителями в наших школах или же служивших в земствах, ругают нас на всех углах, на всех стамбульских перекрёстках. Они охотно печатают пасквили, превозносят благоденствие здешних армян, провозглашают нас – подумать только! – притеснителями христиан и советуют всем армянам признать султана своим верховным покровителем!

– Что-то они запоют, когда турки примутся их резать? – задался вопросом военный атташе, не скрывая своего презрения. – Полагаю, это происки французов, подписавших с ними Протокол.

– Я полностью с вами согласен. Поэтому и написал в своей депеше Горчакову, что главнейшею своею задачей поставляю охранение интересов русского народа, а не какого-нибудь прочего. Меня не свернут ни в ту, ни в другую сторону, вопреки моим собственным убеждениям. Я же прекрасно вижу, что попытки революционеров, всех цветов и национальностей, обращены против нас.

– Поляки сильно досаждают, – сжал пальцы в кулаки Виктор Антонович, – сбиваются в одно змеиное кубло...

– ...с нашей российской швалью, – в тон ему сказал Игнатъев, довершая начатую военным атташе фразу. – Вместе с итальянцами, французами, венгерцами собираются подготовить почву у нас для всеобщего переворота. Мои агенты сообщают, что здесь создаётся космополитический Комитет во главе с Ружецким и Бакуниным. У этих господ-босяков заведены связи не только в бывших польских губерниях, но и в Малороссии, в Одессе и на земле Войска Донского.

– Непонятно, на кого они рассчитывают?

– На подлецов, подкапывающих наши устои! – гневно произнёс Николай Павлович. – Они рассчитывают на сочувствие разных лиц в правительственных кабинетах и даже хвастаются покровительством Великого Князя Константина Николаевича, замутившего крестьянскую реформу. К сожалению, я участвую в «холерном конгрессе» и не могу заняться анархистами вплотную. Роль пассивная мне не пристала. Франция присылает особого дипломата, чтобы высвободить время своему послу, а мне приходится тянуть лямку одному в деле мне незнакомом совершенно. Впрочем, бакунинские заседания ещё не открыты.

– Ваше высокопревосходительство, – обратился к нему военный атташе, – а почему бы Мерингу не заменить вас на конгрессе? Он врач, ему и карты в руки.

– Доктор Меринг оставляет нас, но причисляется к МИДу для приискания места и составления диссертации.

– Шустрый немец, – повёл головой атташе и сказал, что ещё два революционных комитета создаются близ нашей границы: в Трапезунде и в Персии. Что-то недоброе готовится в южных губерниях.

– На Дону и на Кавказе, – уточнил Николай Павлович, получивший шифрограмму из Генштаба. – Вот я и тревожусь: бью в набат. Авось в правительстве спохватятся, проснутся и всюю мощью государства задавят своевременно смутьянов.

– Катков об этом пишет хорошо, – сказал военный атташе и озабоченно потёр надбровье. Игнатъев согласно кивнул.

– Мы с Михаилом Никифоровичем сходимся во мнениях. По многим насущным вопросам. – Он помолчал, убрал газеты со стола и вновь заговорил. – Недавно я встречался с марки-

зом де Мустье и упрекнул его в досадном подстрекательстве армян, на что-то он тотчас зама- хал руками: «Что вы, что вы!» – И живо увильнул от этой темы.

– По-видимому, счёл её опасной, – усмехнулся полковник Франкини и сообщил, что бывший английский посланник сэр Бульвер хотел пойти советником к султану, но не решился пренебречь общественным мнением.

В последний четверг декабря гости русского посольства расплясались до трёх часов утра, а Николай Павлович (под шумок танцев) собрал представителей держав-гарантов: лорда Лай- онса, маркиза де Мустье, Брасье де Сен-Симона, барона Прокеша и итальянского посланника и неожиданно устроил конференцию. Он обвинил маркиза в подстрекательстве армян, ссылав- шихся по своей глупости на его существенную помощь. Дипломаты дружно поддержали Игна- тьева в этом вопросе и буквально «допекли» француза. Впрочем, разошлись они достойно, ничем не оскорбив друг друга.

(Вечера тем и удобны, что не только все миссии в полном составе, но вообще все нужные люди под рукой).

Обрадовавшись своему успеху, Игнатъев вновь обратился в молодого человека и танце- вал так, как не танцевал с поручичьего чина.

Глава VII

В самый разгар новогодних праздников военный атташе российского посольства полков- ник Франкини вошёл к Игнатъеву с сияющим лицом.

– Я на минутку. Вот, – сказал он коротко и вынул из дорожного баула ничем не приме- чательную папку.

Это был тот самый Протокол, который был составлен в Пере под покровительством фран- цузского посольства и держался в величайшей тайне. Он действительно был подписан ливан- ским губернатором Дауд-пашой и преосвященным Азарианом, весьма влиятельными лицами среди армян-католиков.

– Вы настоящий волшебник! – воскликнул Игнатъев, немедля углубляясь в чтение. – То, что вы сделали, неоценимо.

Полковник Франкини позволил себе сесть без приглашения.

Николай Павлович особо не чинился.

Добытый русской разведкой документ заключал в себе целую программу действий, при- водивших к слиянию всех армян: и католиков, и грегорианцев, под протекторатом Франции. При ожидаемом, а возможно, и планируемом падении Порты Оттоманской Франция могла бы противопоставить их турецким славянам и грекам, предполагаемым сторонникам России.

– Виктор Антонович, – сказал Игнатъев, обращаясь к атташе, – в этом акте излагается не только цель, но и все дальнейшие действия, направленные на достижение этой цели. Я воспри- нимаю данный меморандум как своеобразный ключ ко всем козням, интригам и беспорядкам армян на Востоке, задуманных, похоже, в Ватикане. Теперь мы сможем грамотно противодей- ствовать их планам.

Сообщив это, он подумал, что беспрестанная иезуитская ложь маркиза де Мустье, больше всего похожая на легендарно-мерзостную беспринципность Талейрана, лучше всего доказывала, что политика и нравственность не то, чтобы дичатся друг друга, как молодые насельницы женского монастыря, они просто открыто враждебны.

– Рад стараться, – ответил полковник, сразу же поднявшись с места и прищёлкнув каб- луками. В его глазах светилась гордость за своих добычливых агентов.

Чтобы зацепиться, нужна шероховатость. Вот почему разведка русского Генштаба пла- нировала свои операции так, чтоб ни сучка, ни задоринки. Её агенты научались ловить на лету шутки, делать комплименты и окружать себя людьми, способными к серьёзному содействию.

Николай Павлович тоже встал и, хорошо помня о том, что каждому секретному агенту при решении поставленной задачи приходится не только ломать голову, но и жизнью своей рисковать, крепко пожал полковнику руку.

– Скорой награды не обещаю, но представление о присвоении вам генеральского чина уже мною составлено. Будь моя воля, я бы с вашим производством не тянул. И орден вручил бы в придачу. К сожалению, у нас наград ждут, а не заслуживают.

Игнатьеву хотелось узнать детали проведённой операции, но поскольку разглашение секретов военной разведки приравнивается к государственной измене и, соответственно, строго карается, он неожиданно, по-русски, троекратно расцеловал своего атташе. Любой агент – «зерно разведки», а профессиональный, то есть особо удачливый, умеющий работать в условиях повышенной опасности и тех обидных обстоятельств, которые носят характер загадочных, не простое зерно – золотое! Таким золотым зерном был полковник Франкини.

Виктор Антонович хотел что-то сказать, но промолчал. Да и что можно сказать в ответ на лестные слова начальства? Разве что мысленно произнести: «Я вижу смысл моей работы в том, чтоб дело сделать, а не награду получить, хоть и она не лишняя, конечно».

Военный атташе относился к тому типу разведчиков, кто, завершив операцию, тотчас забывал о ней, нисколечко о том не беспокоясь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.